

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИИ

УДК 32.019.5:101:35.977.535.3

Евгений Добренко

МЕТАСТАЛИНИЗМ: ДИАЛЕКТИКА ПАРТИЙНОСТИ И ПАРТИЙНОСТЬ ДИАЛЕКТИКИ

Рассматривается эволюция философского дискурса и философских институциональных структур в сталинскую эпоху. В фокусе – слияние философии и идеологии, философские дискуссии 1920–1940-х годов (в особенности так называемая философская дискуссия 1947 г. по книге Г. Александрова «История западноевропейской философии») и трансформация философии в качестве пропагандистского инструмента в эпоху холодной войны.

Ключевые слова: история философии, марксизм-ленинизм, сталинизм в философии, Гегель в России, философская дискуссия 1947 г., философия и холодная война.

Во второй книжке журнала «Октябрь» за 1950 г. была напечатана статья А. Белика «О некоторых ошибках в литературоведении». В ней содержались привычные, в духе ждановских докладов, требования к советской литературе – коммунистической партийности и идеологической выдержанности – и повторялись известные положения изучаемой в школе статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература» о том, что беспартийных литераторов не бывает, никакой «свободы творчества» не существует, что литература всегда политически ангажирована, а потому – всегда партийна. Советской же литературе, согласно соцреалистической доктрине, только в 1946 г. подтвержденной Ждановым, присуща открытая партийность.

И вдруг 30 марта 1950 г. «Правда» отводит целый подвал развернутой редакционной статье «Против опошления литературной критики» с резкими нападками на «вульгарно-социологические извращения» Белика. Подобные идеологические атаки без санкции Сталина не осуществлялись. «Правда» утверждала, что к ленинской статье надо подходить «исторически»: если в 1905 г. ленинский лозунг «Долой литераторов беспартийных» был политически актуален, то ныне, в условиях «нерушимого союза коммунистов и беспартийных», подчеркивание «партийности» может быть вредным и квалифицироваться как «рецидив рапповщины». В этой связи осуждались призывы к изображению только положительных сторон советской действительности, т.е. именно то, что утверждалось в 1946 г. в связи с критикой кинофильма «Большая жизнь» и творчества Зошенко. Словом, осуждалось то, что стало общим местом в культуре ждановской эпохи.

Белик излагал то же, что говорилось в партийных постановлениях, только более прямолинейно. Его статья была написана в лучших традициях передовиц самой «Правды». Но, не узнав себя в ее зеркале, «Правда» с возмущением констатировала: «Окриками и заушательской критикой создать социали-

стическое искусство нельзя. Читая же статью А. Белика, прежде всего поражаешься ее тону. Эта статья — наглядный пример грубого административного окрика». Белик был объявлен «схолостом-начетчиком», который цитирует отдельные положения из ленинской статьи «без учета конкретной исторической обстановки, в которой она была написана, механически применяет их к современной советской литературе». Поскольку в Советской стране сложился «единый советский народ», «необоснованно и вредно сегодня противопоставлять партийных писателей беспартийным, а именно так получается у автора статьи в «Октябре», жонглирующего цитатами и не понимающего, к чему эта цитаты относятся». Обвинив Белика в возрождении пролеткультовского и рапповского сектантства, «Правда» назвала его доктринером, чем подтвердила, что идеологическая гибкость является ключевым элементом настоящей партийности. Иначе говоря, Белик понимал принцип партийности слишком узко, тогда как принцип этот универсален и к партийной принадлежности литератора отношения не имеет.

Реакция руководства Союза писателей на выступление «Правды» оказалась во всех смыслах неожиданной: Фадеев и Симонов, самые приближенные к Сталину писатели, подготовили редакционную статью «Литературной газеты» под названием «Правомерно ли понятие «партийность литературы» в применении к советской литературе? (Ответ читателям)». Поскольку статья не могла быть «выражением только мнения Союза писателей и «Литературной газеты»», Фадеев и Симонов просили разрешения Политбюро ЦК на публикацию, направив документ Сталину на одобрение [1. Л. 33].

В статье руководителей СП СССР предлагался ни больше, ни меньше, как... отказ от понятия «партийность» и перевод его в разряд исторических категорий (где де-факто уже находилось понятие «классовость»). Статья Ленина «Партийная организация и партийная литература», указывалось в направленном Сталину 6 сентября 1950 года документе, имела «конкретно историческое содержание» и не может «механически» проецироваться на советскую литературу, поскольку имела в виду ситуацию классовой и политической борьбы, которой в советском обществе быть не может [1. Л. 37]:

Положения статьи В.И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» нельзя начетнически, механически переносить на современную советскую литературу. У советской литературы — самой передовой, самой идейной литературы в мире — нет иных интересов, кроме интересов народа и интересов государства. Вся масса советских писателей сплочена вокруг Коммунистической партии, вдохновляется в своем творчестве великими идеями Ленина — Сталина. Коммунистическая партия руководит советской литературой. Советские писатели, как партийные, так и беспартийные, руководствуются в своем творчестве тем, что составляет жизненную основу советского строя, — его политикой. Это идейное единство советских писателей — одно из проявлений морально-политического единства всего советского народа [1. Л. 39].

Перед нами — все категории советской идеологии и эстетики — историзм, народность, идейность и партийность — в действии. Но ключевым для понимания принципа партийности является слово «механически». Хотя «Правда» критикует верные по существу положения статьи Белика, она все равно пра-

ва, потому что позиция самой «Правды» не может быть «механической» и тем более «начетнической» или «схоластической». Будучи выражением «линии партии», она есть воплощенная «партийность», и главная ее характеристика – *диалектичность*. «Механичность» – синоним негибкости, прямолинейности и, в конечном счете, принципиальности (и потенциально – фронды). Нельзя быть партийным и принципиальным («механически» прилагать правильные принципы) одновременно. Партийность – это *modus operandi*, а не позиция или принципы, это способность и готовность к изменению по заданному извне импульсу. Чтобы быть партийной, позиция должна быть гибкой, поскольку партийная позиция – позиция политическая. Диалектика составляет самую суть партийности, если понимать под последней механизм функционирования «жизненной основы советского строя – его политики».

Этого Фадеев и Симонов не поняли. Повторив инвективы «Правды» в адрес незадачливого критика, провозгласив вслед за ней, что «противопоставление партийных писателей беспартийным, которое недавно прозвучало в некоторых литературно-критических статьях, было порочной попыткой воскресить осужденное партией рапповское сектантство», они обвинили неназванных «горе-критиков» в том, что, «неправильно, начетнически, схоластически употребляя термин «партийность литературы», они «пытались подменить этим термином и понятие метода социалистического реализма» [1. Л. 41–42].

Вывод, к которому пришли авторы, был поистине революционным: «употребление понятия «партийность литературы» взамен понятия коммунистической, большевистской идейности советской литературы нельзя считать правомерным»; более того, будучи термином, использованным Лениным в «конкретно-исторических условиях классового общества», он не может «переноситься на советскую литературу нашего времени – эпохи строящегося коммунизма» [1. Л. 44–45]. В приложении к макету статьи Фадеев и Симонов направили Сталину материалы закрытого совещания московского актива критиков, мнения которых разделились: одни считали, что принцип партийности в применении к современной советской литературе вносит путаницу, другие, напротив, утверждали, что это понятие – «душа социалистического реализма» и что «эта формула» содержится во всех школьных программах, поэтому ее нельзя «отменить одним махом». Словом, расхождения были тактического характера.

Поскольку материалы эти хранятся в архиве Политбюро, ясно, что вопрос этот готовился, но был Сталиным снят. Отказываться от партийности, подобно тому, как он отказался от гегелевского «закона отрицания отрицания», не упомянув о нем в «философской главе» «Краткого курса», вождь не стал. Можно, впрочем, сказать, что закон отрицания отрицания не был отменен Сталиным, но просто «отмер» (видимо, вместо государства) за ненадобностью: сталинская идеология не содержит в себе компонентов, подлежащих чистому отрицанию – в ней находятся одновременно и тезис, и антитезис, и синтез. Работа этого идеологического *perpetuum mobile* основывалась на том, что отрицание отрицания находилось *внутри него*. Выйти из этого круга было невозможно. Чтобы понять, почему Сталин решил оставить принцип партийности в политически удобном «подвешенном» состоянии и не отказался от него в 1950 г., когда все для этого

было, казалось, готово, от инвектив «Правды» до написанной статьи руководителей Союза писателей, надо увидеть в партийности не *категорию*, но *принцип прямого политического действия*. Партийность позволяла «подвешивать» все – даже самое себя¹.

Философия и партийность в идеологическом государстве

В условиях сформировавшейся в России политической культуры сталинизм стал органической формой реализации революционного проекта. В результате сложилась парадоксальная идеологическая констелляция: революционный радикализм был направлен здесь на утверждение ценностей и идеологии, разрушение которых составляло самое содержание марксистского проекта. Чем дальше, тем больше это создавало глубокое противоречие между реальностью и ее репрезентацией, при том, что последняя была ключевым компонентом легитимации режима. Если в раннем сталинизме это напряжение разрешалось через аггравацию радикальных *экономических* шагов (коллективизация, индустриализация, культурная революция и т.д.), в которых экономическая модернизация и создание госкапитализма позиционировались в качестве реализации марксистского проекта; если в высоком сталинизме оно снималось в *политическом* поле – в Большом терроре, выдаваемом за «усиление классовой борьбы», и героической мифологии (стахановцы, полярики, легчики); если в годы войны оно стало нерелевантным, поскольку под вопросом оказалось самое выживание страны (хотя *военная* победа позиционировалась как «победа советского стоя»), то в позднем сталинизме это напряжение нашло выход в прямых *идеологических* акциях, направленных на создание культурных, дискурсивных, концептуальных матриц, которые охватывали все сферы жизни – от искусства и науки до экономики и политики.

Это обнажение идеологического приема происходило во всех идеологических кампаниях «ждановской эпохи», но наиболее полное свое выражение нашло в так называемой «философской дискуссии» 1947 г. Однако прежде, чем обратиться к сюжетам, непосредственно связанным с послевоенной переналадкой механизма контроля за идеологическим производством, необходимо понять проблему дискурсивного беспокойства в сталинизме в более широком контексте и объяснить, почему именно философии отводилась

¹ Сталин сохранял амбивалентное отношение к проблеме партийности и позже, заменяя ее «коммунистической идейностью», но дальше частных бесед не пошел. Об одной из таких бесед в 1951 г. вспоминал Юрий Жданов. Частично она была связана с проблемами биологической науки. Сталин упомянул о том, что в связи с августовской сессией ВАСХНИЛ очень много разговоров ведется о партийности в науке, на эту тему получено немало писем.

«В письмах ставят важные вопросы, которые требуют ясности. Так, товарищи нередко рьяно выступают за партийность: значит, беспартийный – ругательное слово.

Беспартийность была таковой, когда беспартийностью прикрывались, уходили от борьбы, маскировали свой отход к буржуазии.

У нас сложились новые отношения между партийными и беспартийными. Среди передовых ученых имеются как члены партии, так и беспартийные. Вспомним Мичурину, Лысенко, Павлова – они все беспартийные. Партийные и беспартийные в равной мере работают на пользу народа.

Можно понимать партийность в широком смысле, как борьбу за материализм, передовое мировоззрение. Но лучше говорить о коммунистической идейности» (Жданов Ю. А. Взгляд в прошлое: Воспоминания очевидца. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. С. 260).

здесь ведущая роль и почему именно в связи с ней столь остро встала проблема партийности – единая для науки и для искусства.

Борис Гройс утверждает, что под коммунизмом следует понимать проект, целью которого является подчинение экономики политике, с тем чтобы предоставить последней суверенную свободу действий. Поскольку «медиумом экономики являются деньги», а «экономика оперирует цифрами», Гройс делает вывод о том, что «медиумом политики является язык. Политика оперирует словами – аргументами, программами и резолюциями, а также приказами, запретами, инструкциями и распоряжениями. В этой проекции коммунистическая революция представляет собой перевод общества с медиума денег на медиум языка» [2. С. 6–7]. Коммунизм посредством «вербализации общества» осуществляет контроль над ним. И философии принадлежала здесь особая роль: «Советский Союз действительно понимал себя как государство, в котором вся власть принадлежит философии. Легитимность коммунистического руководства определялась, в первую очередь, тем, что оно репрезентировало определенное философское учение – марксизм-ленинизм. Другой легитимации это руководство не имело. Поэтому философствование всегда было его первейшей обязанностью» [2. С. 42]. Однако философия была не только доменом советского идеологического языка, но и политическим инструментом, приводящим этот язык в соответствие с актуальными задачами власти. Соответственно, партийность была частью советской философии как практики и как институции.

Политическую природу партийности понимают обычно в том только смысле, что она подчиняет любые принципы требованиям политической целесообразности (т.е. попросту релятивизирует и снимает всякие принципы), тогда как главное в ней то, что партийность является идеальным инструментом контроля. Сталинская система была устроена таким образом, чтобы под давлением оказывались все. Каждый был уязвим из-за колебаний политической конъюнктуры, менявших предписания. А поскольку угадать эти колебания не мог никто, любое действие превращалось в своего рода русскую рулетку: никто не мог гарантировать себя от опасности, если и когда эти предписания объявлялись нарушенными. Этой игре без правил и соответствовала адогматическая советская доктрина, основной принцип которой – принцип партийности — и предполагал подчиненность идеологической конъюнктуре, а значит, всякое отсутствие каких бы то ни было гарантий. Эта система давала номенклатуре *все, кроме гарантий*. В этой подвижности предписаний («догм»), в этом отказе от гарантий и был основной источник террора, в условиях которого жили все. Партийность требовала адогматизма. Он, в свою очередь, – диалектики в качестве обоснования и размывания границ философии – выведения ее за пределы научной дисциплины в область мировоззрения и идеологии.

Расплывчатость основных понятий гегелевско-марксистской диалектики («противоречие», «борьба», «отрицание») привела Карла Поппера к мысли о том, что диалектический материализм неизбежно вырождается в чистую софистику, делающую бессмысленной любую критику под предлогом «непонимания» критиками диалектического метода, что в дальнейшем служит предпосылкой для развития «диалектического» догматизма и прекращению

всякого развития философской мысли. Причем это софистическое перерождение Поппер приписывал в основном марксистской диалектике, поставленной на службу политике:

Марксистская теория [...] в некоторых своих ранних формулировках [...] давала проверяемые предсказания и действительно была фальсифицирована. Однако вместо того, чтобы признать это опровержение, последователи Маркса переинтерпретировали и теорию и свидетельство с тем, чтобы привести их в соответствие. Таким путем они спасли теорию от опровержения, однако это было достигнуто ценой использования средств, сделавших её непроверяемой [...] и благодаря этой уловке они разрушили её широко разрекламированные претензии на научный статус [3. С. 246].

Широко известный софизм Ленина: «Учение Маркса всеильно, потому что оно верно» является, по-видимому, лучшей иллюстрацией к попперовской критике марксистской диалектики.

Как показал ван дер Зверд, самое возникновение «марксизма-ленинизма» означало перерождение марксизма из революционной теории в консервативную идеологию¹. Поскольку революционно-критический (мотивационный) пафос марксизма становился опасным для режима, его задачей оказывается нейтрализация марксизма через консервацию при помощи философво-партаппаратчиков – Марка Митина и Павла Юдина в 1930-е гг., Георгия Александрова – в 1940-е, и так называемых «александровских мальчиков» Петра Федосеева, Леонида Ильичева, Михаила Иовчука, Владимира Кружкова – в 1950–1980-е. Введение же понятия «марксистско-ленинская идеология» было связано с утверждением ортодоксии: поскольку с приходом к власти адептов революционных теорий функции этих теорий меняются с мотивационных на легитимационные, «марксистско-ленинская теория» выполняла функцию не столько мотивации, сколько универсальной и всеобщей легитимации. Соответственно, всякая политическая, социальная, экономическая, культурная или интеллектуальная деятельность должна была быть объяснена в актуальном изводе «марксистско-ленинской теории» и обоснована в категориях «марксизма-ленинизма». Поскольку последний именно в своей идеологической функции являлся настоящим доменом легитимности, производя ее словарь и синтаксис, постольку роль «марксистско-ленинского учения» (т.е. собственно «марксистско-ленинской» философии) в функционировании советского «идеологического государства» (Ален Безансон) была уникальна.

Мераб Мамардашвили заметил, что «в Советском Союзе сформировалась философия, которая в действительности никогда не была таковой, являясь лишь частью идеологического аппарата государства»². Вернее было бы сказать, что сама философия стала *продуктом идеологического аппарата*. Партийность советской философии может быть понята как принцип связи между

¹ О взаимосвязи советской философии с идеологией см.: Evert van der Zweerde. Soviet Philosophy – The Ideology and Handmaid: A Historical and Critical Analysis of Soviet Philosophy, with Case-Study into Soviet History of Philosophy. Nijmegen, 1994. (Особ. часть III. “Philosophy and Ideology: the Soviet Case”). P. 201–305.

² Интервью Мераба Мамардашвили с Анни Эпельбуэн «Мысль под запретом». – URL: http://www.mamardashvili.com/authobiographical/la_pensee_empechee.html. Франц. Перевод: Merab Mamardachvili. La pensee empechee (Entretiens avec Annie Epelboin). Editions del’Aube, 1991.

марксистской философской традицией и партийными институциями, в том же смысле, в каком партийность советского искусства была принципом связи между эстетической практикой и идеологическими институциями государства. Подобно тому, как соцреализм был по форме эстетической практикой, а по функциям – идеологией, советская философия функционально также была именно идеологией. Иначе говоря, *не идеология была продуктом «марксизма-ленинизма», а наоборот – сам «марксизм-ленинизм» как конструкт стал продуктом мутации марксистской идеологии.*

А.А. Зиновьев полагал, что сталинская философия представляла собой мастерскую трансформацию марксистской философии в идеологию, рассчитанную на массовое потребление. Поскольку в отличие от мыслителя-Ленина, обладавшего живой творческой мыслью, Сталин обладал организационно-систематическим умом, «в условиях более простой социально-политической послереволюционной ситуации он создал [...] ту Вульгату марксизма, которая стала мировоззренческой пищей сначала на просторах СССР, а затем и всего «социалистического лагеря»». (Цит по: [4. С.71]). Следует, однако, различать природу и функции философии и природу и функции «марксистско-ленинского учения»: «вульгата марксизма» была продуктом не столько философствования, сколько работы идеологического аппарата государства, симулирующего философскую деятельность.

В советское время утверждалось, что у философии есть один «основной вопрос» (о первичности материи), ответ на который определяет всю ее историю. Основным вопросом постсоветской философии стал вопрос о том, была ли советская философия философией (так же, как для литературоведов, была ли литература соцреализма литературой)¹. Советская философия (по крайней мере, в ее сталинском изводе), по общему признанию, была чем угодно – идеологией, «мировоззрением», – но не наукой. Парадоксальным образом она сама одновременно и утверждала свою «научность», и боролась с «академизмом». Ее вернее было бы назвать квазинаукой: последняя «заимствует у настоящей науки видимую наглядность и силлогизмы» и, «так как лженаука, не являясь эмпирической, не позволяет констатировать результаты опыта» [5. С. 52].

Проблему связи советской философии с идеологией нельзя понять, не отказавшись от распространенного утверждения, что «марксистско-ленинская философия выполняла функции идеологии». *Все было ровно наоборот: «марксистско-ленинское учение» выполняло функции философии.* Вот почему определение «марксистско-ленинской философии» как квазинауки менее всего оценочно: в нем лишь констатируются те функции, которые, симулируя философию, выполняли в советском идеологическом государстве философские институции и их агенты.

В сталинскую эпоху философия отличалась от всех других наук тем, что позиционировалась как одновременно наука, идеология и мировоззрение. Так, утверждалось, что «идеология есть совокупность представлений и понятий, выраженных в различных надстроечных формах общественного сознания», но «в отличие от других форм идеологии философия есть мировоззрение... В системе идеологической надстройки советского общества

¹ См. дискуссию о советской философии: *Вопросы философии*. 1997. № 11. С. 3–38.

марксистско-ленинской философии принадлежит ведущая роль» [6. С. 24, 38]. И действительно, в силу того, что философия занималась по сути артикуляцией советской идеологии в наиболее абстрактных и обобщенных формах и категориях, она играла ключевую роль в создании параллельной аксиоматики, т.е. собственно мировоззрения, которое по ряду фундаментальных параметров действительно отличалось от установившихся аксиоматических констант, принятых за пределами Советского Союза. И хотя начиная с 1930-х годов советская философия находилась внутри идеологии и, согласно официальной доктрине, относилась к надстройке (и, соответственно, «в конечном счете» была обусловлена экономическим базисом), она в то же время характеризовалась «относительной самостоятельностью». Это последнее обстоятельство было поставлено под сомнение одним из главных персонажей философских баталий 1940-х годов Зиновием Белецким, который отрицал относительную самостоятельность в развитии форм общественного сознания при социализме: она-де присуща только антагонистическим формациям. Он утверждал, что

в нашем обществе идеология [...] вступила в гармоническое отношение со своим материальным базисом. У нее нет сейчас никаких относительно самостоятельных задач, отличных от задач нашего народа, нашего государства и партии. Сутью нашей идеологии является не сохранение относительной самостоятельности, а как раз наоборот, – окончательное преодоление относительной самостоятельности, как буржуазного пережитка, на почве практически революционного преобразования общества [...] Наша идеология по своему существу не может быть относительно самостоятельной. Цит. по: [7. С. 227].

Иначе говоря, сама природа и назначение философии как формы идеологического и теоретического отражения действительности претерпели радикальное преобразование благодаря «преобразующей практике марксизма», в которой философия превратилась, наконец, в инструмент не объяснения, но *изменения мира*.

Это слияние идеологии (философии) с материальным базисом, ее «разлитость» в материальном мире стали продуктом радикального – поистине эстетического – жеста. По сути, это была своеобразная философская версия формулы Ермилова «Прекрасное – это наша жизнь», которая основывалась на «разлитости» поэзии в самой советской реальности. Подобно тому, как поэзия сливается с советской действительностью, идеология растворяется в жизни, а теория растворяется в практике. Философия сама становится жизнью и значит – поэзией. Советская же действительность становится инкарнацией идеологии, теории (философии) и поэзии. По мере того, как самостоятельности лишается идеология, лишается ее и действительность. Советская мысль не знала подобного слияния ни в 1930-е годы, ни после смерти Сталина. Это чистый продукт позднего сталинизма. В этом свете сталинским философам было ясно, что «марксистская философия качественно отличается от всей предшествующей философии тем, что она содержит в себе не элементы истины, а *целиком* представляет собой *объективную истину*» [6. С.31]. Это происходит благодаря партийности: поскольку марксизм есть истина, партия, руководствующаяся этим учением, фактически располагает монополией на

нее: «Только философия марксизма, носителем которой является пролетариат, представляет из себя такую систему взглядов, в которой партийность совпадает с объективной истиной» [6. С.31].

Природа этой истины не должна вводить в заблуждение. Как показал Алан Безансон, в самой основе коммунистического дискурса лежит уникальный механизм выворачивания привычных понятий наизнанку таким образом, чтобы между ними и реальностью образовывался зазор, заполняемый содержанием, противоположным исходному:

Порождая сознание неравенства, коммунисты не ставят себе целью констатировать недостатки права: их цель – породить жажду такого общества, в котором право перестанет быть инструментом регулирования. Точно так же коммунистическая идея свободы имеет целью возбудить сознание гнета там, где индивидуум, жертва капиталистического отчуждения, считает себя свободным. В конечном счете, все слова, которые служат, чтобы выражать модальности добра: справедливость, свобода, человечество, доброта, великодушие и т.п., – инструментализованы ради единственной цели, которая все их содержит и все их реализует, – ради коммунизма. В перспективе коммунистической идеи эти слова сохраняют с прежними лишь отношения омонимии [5. С.34].

Эта идеологическая омонимия, когда в ритуализированной словесной культуре слова с высокой степенью террористической угрозы, десемантизируясь, не просто перестают значить то, что значили, но теряют общие элементы смысла, которые становятся зыбкими и легко заменяемыми, делает всех носителей этого идеологического языка чрезвычайно уязвимыми: плавающие идеологические смыслы несут смертельную опасность. Возникновение этой идеологической омонимии следует отнести к самому началу реализации марксистского проекта в России, когда не произошло ни обещанной мировой революции, ни отмирания государства, ни наступления всемирного братства. «Наутро после 7 ноября 1917 года ничего такого не происходит, а занавес раскрывается над пустой сценой. Куда делись пролетариат, бедное и среднее крестьянство, пролетарский интернационализм? Ленин – один со своей партией да горсткой красногвардейцев во враждебном или равнодушном мире. Однако марксизм-ленинизм – это наука. Значит, надо, чтобы опыт принес доказательства теории» [5. С. 38]. Так начинается конструирование социализма согласно теории, которая на ходу же и переписывается под создаваемый политически целесообразный конструкт, который, в свою очередь, должен соответствовать теории. И так до бесконечности. Роль «теории» в этих условиях резко возрастает. Ни в одном из тоталитаризмов XX века ей не отводилось большей роли, чем в большевизме. Так «слой за слоем конструируется поддельная вселенная, предназначенная заменить подлинную. Так сгущается атмосфера всеобщей лжи настолько, что факты все больше отдаляются от слов, которым поручено их описывать. Неистово самоутверждается добро, отрицающее реальность зла» [5. С. 38].

Реальность вообще становится главным врагом этого «научно обоснованного» мира, весь потенциал которого направлен на дереализацию жизни. И действительно, после войны советское общество вступает в завершающую (третью, согласно Безансону) стадию, когда партия «удовлетворяется ру-

тинным отправлением власти и своей безопасностью. Она больше не верит в идеологию, но продолжает говорить на ее языке и следит за тем, чтобы этот язык, лживость которого ей известна, оставался единственным разговорным языком: это знак ее господства. Партия накапливает привилегии и льготы. Она преобразуется в касту» [5. С.39].

Гармонизация связей языка и идеологической реальности на всех уровнях референции – семантическом, прагматическом и синтаксическом – составляла истинную цель существования «марксистско-ленинского учения» и определяла его статус. Философия превратилась в своего рода идеологический *perpetuum mobile*, который не только непрестанно производил легитимирующий идеологический язык, но и обновлял его. Для того, чтобы смена политически актуальных версий «марксистско-ленинского учения» происходила плавно и при всяких поворотах легитимно, и нужен был принцип партийности. Этот язык, в свою очередь, позволял производить советскую идеологическую реальность, став универсальным языком советского общества и советских институций. Особенность этого «большевистского языка» в том, что его референты являлись идеологическими фикциями и располагались в мерцающей зоне семантической неопределенности. Обеспечение его когерентности требовало соблюдения трех условий: закрытости, контроля над информацией и, наконец, «замены действительности псевдодействительностью». Как замечает Безансон,

целое сословие специализируется на производстве псевдожурналистики и псевдоистории, псевдолитературы и псевдоискусства, и все это имеет задачу фотографически отражать несуществующую действительность [...] На воздвижении этих гигантских декораций заняты миллионы людей. Чему это служит? Тому, чтобы доказать, что социализм не только возможен, но что он строится, укрепляется и, более того, уже осуществлен: уже существует новое, свободное, самоуправляющееся общество, где растут “новые люди”, которые стихийно думают и действуют по канонам действительности-вымысла. Самый могущественный инструмент власти – выработка нового языка, где слова принимают смысл, отличающийся от общепринятого. Его особый словарь и манера выражаться ставят его на уровень богослужебного языка: он означает трансцендентность социализма. Он сигнализирует всемогущество партии. Его употребление в народе – очевидный признак порабощения [5. С.40].

Специфика этого идеоязыка состояла в его «научности». В конце концов, именно «марксистско-ленинское учение», т.е. собственно философия, поставила ему референтов. И функция домена большевистского языка возводила ее в статус своего рода советской *scientia scientiarum*, а точнее – *комиссара наук*. Как замечает И. Яхот,

философия стала играть исключительную роль в период культа Сталина. С этого момента она стала чем-то вроде комиссара среди наук, цензором, законодателем. Принцип партийности философии стал магическим ключом, который открывал руководящим философам все двери во все научные учреждения, чтобы выяснить, нет ли там крамолы. Он был объявлен относящимся к любой науке, и логично, что именно философы должны были выполнять роль инспекторов. Они распространяли свое влияние на физику, генетику, статистику, социологию. И везде это имело драматические, а то и трагические последствия [8. С.95].

И все же, утверждение, что «философское отделение всегда воспринималось в Академии наук как политотдел и вызывало опасения у специалистов» [7. С. 202; 9. Р. 182], верно лишь с поправкой: так было не всегда.

(Тезис) Марксизм-ленинизм: Закон единства и борьбы противоположностей

Поскольку марксизм, из которого в Советском Союзе в 1920–1930-е гг. было создано «стройное философское учение», был, прежде всего, радикальной политической и экономической критической теорией, он не только не был философией, но исходил из идеи «конца философии». Как раз когда в СССР установилась «марксистская ортодоксия», в 1932 г. на языке оригинала (а в следующем году и по-русски) была полностью опубликована «Немецкая идеология» Маркса и Энгельса, где утверждалось, что «Философия и изучение действительного мира относятся друг к другу как онанизм и половая любовь» [10. С. 225]. Известный одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе, который в советской школе учили наизусть, гласил: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [11. С. 4]. «Переделка мира», ориентированная на сциентизм, утверждение «позитивной науки», оставляла мало места для традиционного философствования.

Борьба радикальных марксистов со сторонниками классической философии вылилась в 1920-е гг. в ожесточенную полемику между «механистами» и «диалектиками». В ходе этой дискуссии решался, по сути, не только вопрос о предмете советской философии или интерпретации в ней тех или иных положений марксизма, но – о ее месте, роли и функциях в новом государстве. В равной мере, здесь решался вопрос о природе этого государства: процесс утверждения советской философии совпал со становлением советской идеократии, в которой новому «учению» предстояло играть совершенно особую роль. Вопрос о том, в какой мере философия является идеологией, сводился к вопросу о статусе философии в советском «идеологическом государстве».

Слияние философии с идеологией лежало в основании формирования в начале 1920-х гг. так называемого философского фронта, в котором активно участвовали Лев Троцкий, Лев Каменев, Николай Бухарин, Михаил Покровский, Вагаршак Тер-Ваганян, Абрам Деборин и др. видные большевики, создавшие главный философский журнал «Под знаменем марксизма». Спор об идеологии начался статьей Владимира Адоратского «Об идеологии», опубликованной на его страницах в 1922 г. Автор, следуя марксистской традиции, видел в идеологии «ложное сознание». Под подозрение ставилось всякое оторвавшееся от материального мира, а потому извращающее его мышление. Адоратский утверждал, что «для того, чтобы окончательно освободиться от идеологического извращения, надо идеологию преодолеть и на место нее поставить трезвое, научное изучение фактов действительности, изучение материального бытия человеческого общества» [12. С. 207]. А поскольку философия рассматривалась как завершенная форма идеологии, то, в полном соответствии с диалектическими законами, диалектический материализм оз-

начал, по сути, отмену философии. Согласно этому взгляду, «научной идеологии» быть не может – это *contradictio in terminis*.

Эту последовательно марксистскую (и потому негативистскую) программу первым озвучил ректор Петроградского университета и видный большевик Сергей Минин, выступивший в 1920 г. со статьей, где утверждал, что, «подобно религии, философия враждебна пролетариату». Статья называлась в духе времени: «Философию за борт» (в те же годы Пролеткульт и ЛЕФ сбрасывали «с корабля современности» Пушкина и «прочих генералов классики»). Спустя два года в том же номере журнала «Под знаменем марксизма», где была опубликована статья Адоратского, Минин будет утверждать, что «термин «философия марксизма», во-первых, антилогичен, во-вторых, опасен и вреден, в-третьих, когда он не опасен, он излишен и уже по одному этому вреден». Отсюда делался вывод о том, что новому обществу «нужна наука, только наука, просто наука» (См.: [13. С. 194, 195]). В этой «просто науке» не могло быть место партийности. Их несовместимость объяснялась тем, что наука понималась как «объективное» знание, а партийность предполагала классовую «субъективность».

Позиция «механистов» еще более укрепитя, когда к Минину в 1924 г. присоединится другой видный большевистский функционер Иван Скворцов-Степанов, полагавший, что единственно научное знание является результатом естественных наук – именно они дают материалистическую и объективную картину мира. Философия опасна, поскольку она основана на филиации идей и к материализму отношения не имеет. На стороне Скворцова-Степанова оказались многие ученые-естественники. Так, в поддержку этой позиции выступил коллектив НИИ им. К.А. Тимирязева и сын Тимирязева Аркадий. Одним из лидеров «механистов» стала Любовь Аксельрод.

Противостоявшие им «диалектики» во главе с Дебориным, напротив, утверждали, что только философы могут защитить и развить марксизм. «Механисты» были названы «талмудистами» [14], не понимающими, какое важное место должно быть отведено идеологии (и соответственно, философии) в марксизме (См.: [8. Гл. 7]). Спор быстро перерос в политические обвинения и прямое политическое давление. «Диалектики» обвиняли своих оппонентов в том, что те отказались от диалектического материализма, погрязнув в «механическом» материализме и став на путь ревизионизма (т.е., по сути, оказались врагами марксизма). Наконец, прибрав к рукам власть в Обществе воинствующих материалистов, «диалектики» смогли в 1928 г. окончательно расправиться с «механистами». Решающими оказались «административный ресурс» (на стороне «диалектиков» стояло партийное руководство, в их руках был главный философский журнал «Под знаменем марксизма»), облыжные политические обвинения, недобросовестные приемы ведения спора, интриги, неуважение к оппонентам, полное пренебрежение этикой научного спора и политические доносы.

Перед советской философией как «идеологической дисциплиной» стояла серьезная задача: обосновать статус философии как комиссара наук, тогда как идеология никак не вписывалась в систему позитивных марксистских понятий. Не говоря уже о невозможности вписать в систему марксистских понятий такие, к примеру, широко распространенные определения, как:

«Марксизм это не философия одиночки-социалиста, а символ веры рабочего класса» (Из выступления П.Н. Федосеева в философской дискуссии 1947 г.) [15. С. 451]. Выход был найден в том, чтобы различать идеологию «научную» и «ненаучную»; именно последнюю якобы имел в виду Маркс, когда выступал против идеологии как таковой (ведь до марксистской философии «научной философии» быть не могло). Результатом этой «сциентизации духовно-идеологической сферы общества на большевистский манер» стали «научная идеология», «научная философия», «научное мировоззрение», «научный атеизм» и т.д. Но эта «сциентизация по-советски», как точно заметил К. Делокаров, мало походила на сциентизацию на Западе:

Развернувшиеся после революции среди широких слоев интеллигенции споры по философии, естественно, не могли быть глубокими, поскольку интеллектуальный уровень большинства их участников был невысок. Так, по данным 1922 г., в партийных организациях от 50 до 90% коммунистов были малограмотными. В этих условиях естественными были такие упрощенческие явления, как «енчменизм», попытки «диалектизировать» горное дело и т.п. [16. С. 31].

В это время «появляются статьи о марксизме в хирургии, о диалектике двигателя внутреннего сгорания, о марксистско-ленинской теории в кузнечном деле, о применении материалистической диалектики в рыбном хозяйстве. Советский журнал венерологии и дерматологии формулирует новые задачи перед медиками – ставить все вопросы под углом зрения диалектического материализма» [17. С. 107–108]... Но повышение образовательного уровня и после войны не привело к изменению статуса философии (идеологии): они продолжали играть ключевую роль в обосновании обскурантистских атак на всех направлениях послевоенного «научного фронта»: от знаменитой сессии ВАСХНИЛ и «Павловской сессии» до физики и лингвистики.

Уже в «Немецкой идеологии» (1845) содержалось очевидное неприятие идеологии основателями марксизма: «Во всей идеологии люди и их отношения оказываются перевернутыми вверх ногами, словно в камере-обскуре» [10. С. 25]. Именно с этой точки зрения Маркс критиковал своих оппонентов за отвлеченное идеологизирование, филиацию идей, фетишизацию и отрыв от реальных социальных условий и связей и материальной жизни. Причем это отношение к идеологии как к «извращенному сознанию» сохранилось в марксизме до конца. Так, в письме к Мерингу от 14 июля 1893 г. Энгельс напишет: «Идеология – это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом» [18. С. 462].

Несмотря на то, что марксизм был проникнут отрицанием идеологии, советская философия проделывала с ним то же, что «научный коммунизм» – с марксистской теорией государства: вместо его отрицания занималась его утверждением. В этом советская система демонстрировала не столько свой «идеализм» (идеологизм), сколько прагматичный «материализм»: дело было не в принципах, но именно в политике. Связь идеологии и философии упрочалась по мере того, как марксизм перерождался в «марксистско-ленинское

учение», т.е. в инструмент легитимации режима, пока партийность философии не стала важнее самой философии.

Уже в раннем большевизме с идеологией была связана идея «внесения в массы классового сознания извне», т.е. при посредстве «идеологов пролетариата». Ее разделяли Богданов и Ленин. Эта идеология, несомненно, использовала философию, но философией ни в коей мере не была. Напротив, считая идеологию важной для целей борьбы пролетариата, Богданов смотрел на философию по-марксистски: «Наука сделает ненужной философию, как уже теперь не нужна религия» [19. С. 5]. В отличие от него Ленин полагал, что идеология всегда классовая и потому партийная. Мысль эту разделял и Сталин, который свою работу 1906 г. «Анархизм или социализм?», где писал о Гегеле, Прудоне и других философах, начал следующим образом: «Стержнем современной общественной жизни является классовая борьба. А в ходе этой борьбы каждый класс руководствуется своей идеологией» [20. С. 294]. Характерна в этом смысле правка Сталиным текста выступления Жданова в ходе философской дискуссии. Сталину текст понравился, принципиально он подправил лишь одно положение. Там, где у Жданова говорилось о марксизме как «научном мирозерцании пролетариата», Сталин написал «НЕ ТО» и дал такую формулу: «Философия стала научным оружием в руках ПРОЛЕТАРСКИХ масс» (См.: [21. С. 85–87]). Не делая различий между философией и идеологией, Сталин фактически утверждал, что любая философская идея является орудием классовой (а, следовательно, и политической) борьбы. Отсюда следовало, что и разные партийные группировки и «уклоны» тоже выражают политические интересы (либо полезные, либо враждебные) и, соответственно, идеологии (философии) являются прямым инструментом политического действия.

И хотя идеология в 1920-е гг. еще не описывалась в категориях «идеологической борьбы», являющейся формой «классовой борьбы», засилье идеологов-философов к концу 1920-х гг. стало вызывать отпор в самой большевистской среде. Как замечает Пустарников, «в 1928 г. ректор Института Маркса–Энгельса Д.Б. Рязанов выступил против «гегемонии философии» в программах Института красной профессуры и, соответственно, против пренебрежения изучением экономики, бюджета и истории. На Всесоюзном совещании агитпропов, проходившем в 1928 г., тот же Рязанов опять критиковал «гегемонию философии» в ИКП (Институт красной профессуры. – *Е.Д.*), а общую тогдашнюю ситуацию с философией определял как «философскую эпидемию» и даже как «философский онанизм», имея в виду тот факт, что философия, став над науками, начала подменять научные решения абстрактно-отвлеченными формулами. Подмеченный Рязановым феномен – это начало прошедшей через всю советскую философию тенденции, которую я называю «панфилософизмом», при котором философия понималась предельно широко, как учение о мире в целом. Так ее понимал и Сталин, для которого марксизм был не только теорией социализма, но и цельным мировоззрением, философской системой, из которой вытекает социализм» [22. С. 10]. Хотя окончательная инструментализация идеологии (философии) произойдет несколько позже, ее обоснование и предпосылки лежали в основании дискуссии, разразившейся в середине 1920-х гг. между «диалектиками» во главе

с Дебориным и «механистами». Когда дискуссия в 1928 г. завершилась победой деборинцев, оказалось, что эта победа была кратковременной. 1929–1930 гг. обозначили «великий перелом», в том числе и в гуманитарных и общественных науках, когда с пьедесталов низвергаются бывшие авторитеты: Исаак Рубин в политэкономии, Валериан Переверзев в литературоведении, в 1930 г. очередь доходит до деборинцев. На смену им приходят люди типа Марка Митина и Павла Юдина.

Ясно, что в 1920-е гг. вопрос заключался в том, «на чем будет базироваться практическая линия большевистской партии и государства: на конкретных науках или на философии? Лидеры «механистов» хотели, чтобы во главу угла была поставлена наука, способная изучать действительный мир и давать научные рекомендации. «Диалектики» же ориентировали на «науку наук» – философию. Этот теоретический спор был «решен» политически и сверху, когда в философские споры начал активно вмешиваться Агитпроп, акцентируя внимание на политическом и идеологическом их значении [22. С. 10]. Тогдашний заведующий Агитпропом В. Кнорин заявил, что в дискуссиях речь идет вовсе не об отвлеченных философско-научных спорах, что «отход от марксизма в области философии должен повлечь за собой политические расхождения» [23. С. 14].

В конце 1920-х гг. настало время перестройки «философского фронта» под новый синтез, творцом которого мог быть теперь только Сталин. Хотя до этого борьба и была далека от норм научной полемики, хотя в ней и присутствовали внаучные факторы (давление партийных инстанций, защита «диалектиками» собственной дисциплины от экспансии естественников, стремление «механистов» избавиться от контроля некомпетентных комиссаров-философов), это все же была борьба разных групп ученых, отстаивавших свои принципы. Теперь она переместилось в область политики, где принципы потеряли всякую релевантность, а философией стали руководить партийные функционеры, оперировавшие неким набором философских терминов.

То, что происходило на рубеже 1930-х гг. в философии, имело парадигматический характер и лучше всего может быть понято в сравнении с ситуацией, сложившейся в искусстве. С одной стороны, были радикальные группы, продвигавшие нередко негативистские программы (Пролеткульт и ЛЕФ – в литературе, АСМ – в музыке, УНОВИС – в живописи, ОСА – в архитектуре). С другой стороны, были силы умеренно-центристского плана («Красная Новь», «Перевал» и Воронский в литературе, ОСТ – в живописи, АСНОВА – в архитектуре). И, наконец, околопартийные группировки, используемые Сталиным в эпоху культурной революции для «большевизации» литературы (РАПП во главе с Авербахом), музыки (РАПМ, ПРОКОЛЛ), живописи (АХР) и др. Деборин был своего рода Воронским в философии, а Митин – Авербахом. Разница между людьми 1920-х (образованными партийными интеллектуалами с революционной биографией и опытом политической борьбы) и людьми 1930-х (молодыми партийными функционерами, не имевшими ни образования, ни собственных взглядов, но поддерживаемыми Сталиным с целью разрушения старых партийных элит) была существенной.

Развернув в 1930 г. «дискуссию на философском фронте», Сталин преследовал те же цели, что и на «литературном фронте»: контроль за культур-

ными и интеллектуальными элитами и подчинение своей власти всех сфер культурной и интеллектуальной жизни. Философия, которая в его глазах была центральным легитимирующим фактором режима, не могла оставаться в стороне. Именно тогда трое молодых философов – членов партийного руководства Института красной профессуры – Марк Митин, Павел Юдин и Василий Ральцевич объявили в «Правде» о начале «борьбы на два фронта» – против «диалектиков» и «механистов». В эпоху сталинской борьбы с «уклонами» в партии «борьба на два фронта» была в моде: «механисты» должны были представлять «левый уклон» (ликвидаторский) и обвинялись в троцкизме, а «диалектики» – «правый» (тем более, что многие из них были связаны с только что низверженным с партийного олимпа за «правый уклон» Бухариным). «Уклону» этому было придумано Сталиным специальное название: «меньшевиствующий идеализм» (по этой же схеме спустя год Сталин изобретет «социалистический реализм»). «Борьба на два фронта» была своего рода политической инкарнацией закона единства и борьбы противоположностей. В этой проекции «меньшевиствующий идеализм» стал своего рода «отрицанием отрицания», а родившийся на обломках двух «уклонов» («механисты»/«диалектики») «марксизм-ленинизм» – «переходом количества в качество». Это новое качество было результатом целенаправленных политических действий.

После инспирированной им атаки, 9 декабря 1930 г., Сталин, явившись на заседание бюро ячейки ИКП, заявил, что Деборин – «безнадежный человек», а деборинцы не марксисты, поскольку отрывают философию от политики. Впрочем, он предложил оставить Деборина в редакции журнала «Под знаменем марксизма», «для того чтобы было кого бить. Надо и одного из механистов, только кого-нибудь из них пооборотистей. У вас в редакции будет большинство. Редакция будет вашей школой. Вы тут внутри редакции будете иметь два фронта. Вы должны все вопросы проверять на этих двух фронтах, для того чтобы самим не ошибиться и не впасть в односторонность. В редакции будете учиться и знать противника. Имейте в виду, что редакция – это не ЦК. Вам надо внутри редакции дискуссировать, вести боевую идеологическую борьбу и проверять каждый раз свою линию». (Цит. по: [24. С. 64]. Расставленные Сталиным на все руководящие посты «новые философские кадры» полностью подчинили себе «философский фронт». Центральной фигурой в советской философии сделались Митин и Юдин. Первый, став членом ЦК партии, возглавил Институт Маркса–Энгельса–Ленина и журнал «Под знаменем марксизма». Второй возглавил Институт красной профессуры, а затем – ОГИЗ (Объединение государственных издательств) и, наконец, Институт философии АН СССР.

Новое руководство «философским фронтом» принесло новый язык, который был просто непригоден для ведения сколько-нибудь профессионального спора или дискуссии: «открыть большевистский огонь», «открыть жестокий бой», «дать решительный отпор», «открыть решительный огонь», «бороться за чистоту нашего теоретического оружия», «дать беспощадный отпор всяким попыткам притупить острие материалистической диалектики» и т. д. Как справедливо заметил А. Огурцов,

военизированная стилистика должна была создать образ врага, представить вчерашних единомышленников, учителей и своих же товарищей как злых врагов и прямых идеологических противников [...] Атмосфера взаимной подозрительности, политических обвинений, идеологического разоблачительства и доносите́льства начала формироваться именно в эти годы. Ее создателями и проводниками в философской среде были именно молодые сталинисты, выдвинувшие в качестве центрального принципа идеологии лояльного единомыслия принцип партийности [17. С. 105–106].

Принцип партийности распространился теперь на все области социального творчества – от узкоспециальных научных исследований и всякой теории до искусства. Для философии это означало, что в качестве позитивной ценности она могла рассматриваться только как «большевистская философия», как «марксистско-ленинское учение», превратившись в «оружие партии для критики всяких антипартийных течений и уклонов от генеральной линии партии» [17. С. 106]. В результате «журнальные и газетные статьи все более начинают походить на печатные доносы: громят «виталиста» Л.С. Берга, «махиста» Я.И. Френкеля, «конвенционалиста» С. А. Богомолова, «мракобеса» и «фашиста» Н.Н. Лузина и многих других выдающихся советских ученых. Ведутся поиски представителей «деборинской школы» в медицине, физике, биологии» [17. С. 107] и т.д. Так наступила эпоха «марксизма-ленинизма». Главное, что должны были утвердить «новые философские кадры», – это новый подход к философии, которая из сферы полемики превратилась в пересказ священных текстов «классиков марксизма-ленинизма» (в сталинской интерпретации), поле неустанной борьбы с «врагами марксизма» и прославления наступившего «ленинского этапа» в истории философии, когда ответы на все вопросы истории философии даны и остается только «творчески развивать марксизм».

В условиях идеократического государства область идеологии стала сферой жизненных интересов режима. Установление контроля над ней было обусловлено установлением сталинского авторитета во всех областях после того, как это произошло в сфере политики в 1929 г. После смерти Сталина Деборин будет писать Хрущеву:

В конце 1930 г. тогдашний заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК объявил мне, что отныне требуется утвердить один авторитет во всех (!) областях, в том числе и в области философии. Этот авторитет – наш вождь Сталин.

В связи с этим меня вскоре посетили на квартире тт. Митин, Юдин и Ральцевич, которые предъявили мне ультиматум: на публичном собрании я должен был разгромить своих учеников, объявив их врагами народа, самого же Сталина провозгласить великим философом. Хорошо зная, чем я рискую, я все же категорически отказался от выполнения этого приказа [...]

После моего отказа последовала бешеная атака на меня и моих единомышленников – преданных ленинцев, которых обвинили в терроризме. Особенно дико действовал М. Б. Митин, который не останавливался перед самой дикой клеветой. (Цит. по: [24. С.64]).

Когда в 1938 г. был опубликован очерк Сталина «О диалектическом и историческом материализме», вошедший в качестве знаменитой «философ-

ской главы» появившегося в том же году «Краткого курса» истории ВКП(б) и объявленного «энциклопедией философских знаний в области марксизма-ленинизма»¹, вождь был объявлен «корифеем наук», а написанное им – вершиной творческого марксизма. (См.: [25. С.629; 26]). Хотя уже тогда этот текст являл собой образец школярского примитивизма и схематизма, именно он стал основой преподавания философии и своего рода «катехизисом марксизма», который не подлежал даже толкованию, но только восторженному воспеванию. Эту позицию еще в начале «философской дискуссии» закрепил ЦК в своем постановлении «О журнале "Под знаменем марксизма"» от 25 января 1931 г., отметив, что отныне главной задачей философов является «разработка ленинского этапа развития диалектического материализма» [27].

«Ленинский этап» в философии был эвфемизмом. В первой и по сей день наиболее полной истории ранней советской философии «Подавление философии в СССР (20 – 30-е годы)», детально рассмотрев все зигзаги политической линии в области философии, Иегошуа Яхот пришел к выводу о том, что «официальная версия, будто философская дискуссия тех лет имела какие-то иные цели, кроме возвеличивания Сталина», не выдерживает критики и что «проблема Ленина» и «ленинского этапа» была всего лишь камуфляжем, дымовой завесой, под прикрытием которой и создавался культ Сталина [8. С.73]. «Дело было не в Ленине, и не в ленинском этапе в философии, – писал И. Яхот. – Поворот на идеологическом фронте означал коренное изменение направления пропаганды, в центре которой должен стоять Сталин. Этого и добивались оппоненты Деборина. Крича о Ленине и «ленинском этапе», они создавали культ Сталина» [8. С.81].

Между тем главным достижением «ленинского этапа» истории философии было, согласно Постановлению ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском “Краткого курса истории ВКП(б)”», то, что благодаря «философской главе» в «Кратком курсе» были, наконец, «воссоединены в одно целое искусственно расщеплённые составные части единого марксистско-ленинского учения — диалектический и исторический материализм и ленинизм, а исторический материализм [...] связан с политикой партии» [28. С. 316]. Иными словами, философия была официально объявлена политической дисциплиной, партийность которой стала ее неистребимой чертой.

¹ КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 7-е изд. Ч. 3. М.: Госполитиздат, 1954. С. 316. Очерк Сталина «О диалектическом и историческом материализме», впервые опубликованный 12 сентября 1938 г. в «Правде», в том же году вошел в «Краткий курс истории ВКП(б)» и многократно издавался отдельно. Вопрос об авторстве этого текста остается открытым, хотя большинство исследователей склоняются к тому, что он принадлежит Сталину. (См.: *Vaigyskas* 3. Энциклопедия сталинской философии (Заметки о работе Сталина «О диалектическом и историческом материализме») // Отечественная философия: опыт, проблемы, перспективы исследования. Вып. IV: Философия в тисках политики.– М.: Акад. обществ, наук при ЦК КПСС, 1991. С. 74–114). С тех пор, как в ноябре 1938 г. было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском “Краткого курса истории ВКП(б)”», началось формирование единой системы философско-политического образования. В соответствии с постановлением изучать основы марксизма-ленинизма предписывалось во всех учебных заведениях, а также в системе партийной учебы. Постановление полностью изменило и положение философской науки. От философов требовалось преодоление сложных философских рассуждений, упрощение изложения, отказ от «жонглирования гегелевской терминологией» и «создания там, где это надо, новой философской терминологии, понятной и доходчивой для каждого советского интеллигента» (По-большевистски овладеть марксизмом-ленинизмом // Под знаменем марксизма.– 1938. № – 11. – С. 39).

Превращение идеологии в ключевое понятие политического лексикона произошло в эпоху Большого террора. Именно в это время понятия «идеологическая борьба» и «классовая борьба» слились, а такие понятия, как «идеологическая диверсия», «идеологический фронт», «идеологическая работа», «идеологическое воспитание (закалка)», стали операционными категориями. Выход «Краткого курса истории ВКП(б)», ставшего своего рода концептуализацией и синтезом Большого террора. (См.: [29; 30. С. 290–310]), сопровождался специальным постановлением ЦК от 14 ноября 1938 г., где выдвигалась в качестве основной задачи партии «идеологическая закалка кадров».

Когда после войны восторжествовала «теория бесконфликтности» и «классовая борьба» переместилась в сферу международных отношений, «идеологическая борьба» превратилась в своего рода внутреннюю форму «классовой борьбы». Именно «усилением идеологической борьбы двух миров» и продвижением тезиса о том, что «идеологическая борьба – это форма классовой борьбы», были вызваны известные «резолюции ЦК по идеологическим вопросам», принятые (начиная с 1946 г.) о театре, кино, литературе, музыке и т.д.

Тема партийности стала центральной в развернувшейся на «философском фронте» борьбе. Поскольку, как утверждал Ленин, «новейшая философия так же партийна, как и две тысячи лет тому назад», всякий «объективизм» есть лишь маскировка партийности. При этом цитата из Ленина срезалась обычно на проясняющем следующем предложении: «Борющимися партиями по сути дела [...] являются материализм и идеализм» [31. С. 380]. Иначе говоря, речь шла о «партиях» в философии, а не о политических партиях. Когда это пояснение сохранялось, обычно следовала ссылка на статью Ленина «Партийная организация и партийная литература», где высказывались те же мысли, но на этот раз в связи с литературой и журналистикой. Новизну этому тезису в 1930-е гг. придавало то, что теперь он был направлен не против открытых врагов «пролетарского государства», но на скрытых его противников, которые в условиях «диктатуры пролетариата» не смеют «открыто поднять голову», но действуют «внутри рабочего движения». Опасны не открытые враги, но скрытые «течения», «уклоны», «группы и группочки», «школы и школки», «прикрывающиеся марксистско-ленинской фразеологией» или же нарочитой «объективностью» (разоблачаемой как злостный «объективизм»). Иначе говоря, принцип партийности превращается в инструмент очищения и разоблачения.

Другая новация была связана с интерпретацией самой природы партийности. Если раньше существовала грань, отделяющая теорию (философию) от текущей политики, то теперь «разрыв теории и практики» устранялся одним скачком. Наилучшим образом этот подход сформулировал Юдин на страницах «Правды»:

Одним из важнейших моментов, свидетельствующих о непонимании нашими философскими «маэстро» партийности философии, является непонимание ими роли партии и ее ЦК не только как практического, но и теоретического центра. Они не понимают того, что партийная политика, решения съездов и ЦК партии есть – подлинно ленинская диалектика, истинно диалектический синтез революционной теории и революционной практики [32].

Ясно, что «ЦК» здесь – эвфемизм. Речь шла о том, что Сталин, который и являлся единственным субъектом политики, был теперь одновременно и «творцом новой жизни», и высшим хранителем философской (а значит, идеологической и легитимирующей) чистоты, источником собственной легитимности, и задача философии сводилась не просто к сокрытию этого факта, но к ритуалу освящения «синтеза», исходящего из «ЦК». Последствия не заставили себя ждать:

Отныне простой комментарий к решениям ЦК и будет называться философией [...] И это будут считать высшим проявлением партийности в то время, когда это была просто ликвидация той специфики, которая отличает философию от политического комментария на злобу дня. Любой углубленный анализ философских проблем будет считаться формализмом и забвением принципа партийности, а бессмысленный набор слов, но содержащий стандартные лозунги, почерпнутые из очередной газетной передовой, – высшим проявлением философской мудрости [8. С. 114].

Антиинтеллектуализм, которым были пропитаны агрессивные атаки на философию, привел к тому, что под подозрением оказался сам предмет философии – область идей: «Все, что не являлось комментированием текущих событий, недостойно было называться философией. Легко понять, как остерегались заниматься всем, что хотя бы отдаленно напоминало абстрактный анализ абстрактных категорий: он всегда был уязвим с точки зрения новых установок, которые с такой настойчивостью внедрялись в жизнь» [8. С. 114], поскольку, как теперь утверждалось, «отвлечение от практики социалистического строительства научной мысли в дебри схоластической абстракции – это тактика врага» [33. С. 64–65].

Эта новая партийность не имела, разумеется, никакого отношения к философии. Речь идет о сугубо суггестивной по функциям стилизации философского дискурса, которая сводилась к «марксистскому» оформлению любых политических акций режима. Артикулируя в категориях «марксизма-ленинизма» советскую действительность, она максимально ее дереализовывала. Всякая апелляция к неидеологической реальности третировалась здесь как «объективизм», а всякая концентрация на понятийных и (методологических основаниях анализа квалифицировалась как «аполитичность» и отказ от партийности, т.е. как прямо политически враждебные действия. На первый план вышли разного рода суггестивные атрибуты типа «боевитости», «страстности», «наступательности», «непримиримости». В результате партийность выливалась в брань, анализ заменялся риторикой и резонерством, а логика и аргументация – апелляцией к цитатам.

В сущности, происшедшее на «философском фронте» на рубеже 1930-х гг. было атакой на философию как таковую. Не случайно попытки ее радикальной перестройки шли параллельно с разрушением традиционного философствования как рода деятельности. Ни Маркс и Энгельс, ни тем более Ленин, не говоря уже о Сталине, философами не были. Они писали на философские темы лишь в связи с иными, более актуальными для них политическими, идеологическими и экономическими сюжетами. «Классической» называл немецкую философию Маркс не случайно. Ее олицетворением был Гегель, под огромным влиянием которого сами Маркс и Энгельс находились.

Немало написано о том, почему именно Гегель стал мишенью агрессивных атак со стороны «нового философского руководства», атак, которые еще больше усилились во время и после войны. Объяснения обычно сводятся к тому, что дело в «пруссачестве» Гегеля, его политическом консерватизме, идеализме и даже расизме. По мере роста фашизма он становился политически все менее удобной фигурой на идеологическом олимпе. Его статус, обеспеченный тем пиететом, который испытывали к нему «основоположники марксизма-ленинизма», начал снижаться на рубеже 1920-х гг. не случайно. Как не случайно этот процесс совпал с установлением «ленинского» (читай: сталинского) этапа в истории философии. Фашизм еще даже не пришел к власти в Германии, а Митин уже в 1931 г. провозглашал, что

реакционная, консервативная, идеалистическо-мистическая система гегелевской философии, очень привлекательная для фашизма, может быть использована в качестве теоретической базы для него, может вызвать, и действительно вызывает к себе, с его стороны, особый интерес. Абсолютный идеализм Гегеля служит базой для самых диких современных мистических, идеалистическо-религиозных воззрений фашиствующего буржуа. Активная черта немецкого классического идеализма, действенность гегелевской философии, является очень привлекательной для активистического, наступательного, действенного характера современного фашистского движения. Освящение со стороны Гегеля абсолютным духом его философии современной ему прусской монархии, национализм и шовинизм, характерные для произведений Гегеля, – все это крайне симпатично уму и сердцу, империалистическо-захватническим, националистическо-фашистским настроениям буржуазии [34. С. 26].

Это сугубо актуально-политическое объяснение того, почему Гегель впал в немилость, лежит на поверхности. Но есть, как представляется, куда более глубокие причины. Гегель был слишком важен для марксизма: собственно, он-то и был его философским основанием (вся «философия марксизма» – диалектический материализм, – изложенная в «Кратком курсе», была лишь пересказом Гегеля). Гегель был слишком могуч как мыслитель – настолько, что его было невозможно обойти в изложении «основ марксизма». Именно потому, что «рациональное зерно» гегелевской системы – диалектика – стало обоснованием революционного теоретизирования, именно потому, что Гегель стал воплощением философии как таковой, именно потому, что гегелевская диалектика, своеобразно воспринятая в качестве «диалектической логики», конструкции гибких и изменчивых понятий, стала, по сути, сталинским образом политического мышления, сам первоисточник подлежал удалению подальше от глаз.

И в самом деле, в эпоху партийности философия как дисциплина настолько изменила свою природу и дискурс, что напоминание о философской культуре в лице воплощающего «классическую философию» Гегеля становилось неуместным. В эпоху, когда наследие Гегеля вначале «перетаскивалось» в марксизм и приписывалось Марксу и Энгельсу, затем Ленину, а затем и вовсе Сталину, апелляции к Гегелю стали восприниматься как вызов. В таких случаях обворовываемый автор подлежал дискредитации для обоснования его последующей маргинализации. В случае с Гегелем слишком многое требовалось объяснять:

рядом с «вождями пролетариата» он был во всех смыслах фигурой неудобной и слишком значительной. Гегелевскую диалектику нельзя было «отменить», но ссылки на автора стали заменяться безличным изложением «законов развития». В «Кратком курсе», излагая «от себя» (а точнее, от лица самой Истории) гегелевские законы диалектики и приписывая их «Марксу, Энгельсу, Ленину», Сталин выглядел компилятором. Чем дальше, тем больше, ему становилось неудобно в тени Ленина, он откровенно недолюбливал Энгельса. На идеологическом олимпе становилось слишком тесно.

Атаки на Гегеля должны быть объяснены именно этими, глубоко политическими, «неудобствами», верно почувствованными Митиным и Юдиным еще на рубеже 1930-х гг. И уж затем они совпали с удобным поводом «задвинуть» Гегеля: благо дело, он прославлял прусские государство и порядок, был идеалистом и без достаточного пиетета относился к славянам. Но все это, вырванное из контекста, представляло собой лишь *casus belli* объявленной Гегелю войны. Неслучайно поэтому одним из основных обвинений, предъявленных «новым философским руководством» деборинцам, был именно пиетет перед Гегелем и утверждение его важности для марксистской теории.

Уже тот факт, что марксизм не стал формулировать принципиально новые категории и законы, но взял сформулированные Гегелем, был достаточным основанием для того, чтобы попытаться маргинализировать их автора. Ни для Маркса и Энгельса, ни для Ленина «проблемы Гегеля» не существовало и ясно почему: они не решали репрезентационных задач, которые решал Сталин и для решения которых ему нужно было «учение», где для него оставалась бы удобная и почетная ниша.

По иронии, изгонявшийся Сталиным Гегель лучше других объясняет логику рассматриваемого процесса. Если попытаться показать работу законов гегелевской диалектики, лучшего примера, чем история самой советской философии 1920–30-х гг., трудно найти. Здесь закон единства и борьбы противоположностей можно продемонстрировать на примере столкновения «диалектиков» и «механистов» (1920-е – эпоха Деборина), закон перехода количество в качество – перерождением «диалектиков» в «меньшевиствующих идеалистов», а закон отрицания отрицания – рождением «марксизм-ленинизма» (1930-е – эпоха Митина и Юдина вплоть до появления «Краткого курса» с его «философской главой»). В то же время «меньшевиствующий идеализм» может быть понят как своего рода отрицание отрицания (пиррова победа «диалектиков» над «механистами»). В этом свете «марксизм-ленинизм» стал своего рода «синтезом» борьбы 1920–1930-х гг. на «философском фронте». Но одновременно, он должен быть понят как отправная точка (тезис) для последующего развертывания диалектической триады, неотвратимо катившейся к новому синтезу-отрицанию.

По остроумному замечанию Гройса, с точки зрения материалистической диалектики, основанной на единстве тезиса и антитезиса, «если тезис – это проект, то антитезис – это контекст данного проекта. Последовательно реализуя определенный проект, мы действуем односторонне, поскольку игнорируем его контекст, его антитезис. Более того, контекст проекта становится его судьбой, ведь он диктует условия его реализации. Тот, кто стремится к тотальности, должен перейти от проекта к его контексту» [2. С. 101–102].

В этом смысле, сложившаяся в 1930-е гг. марксистская ортодоксия должна быть понята как тезис (результат действия закона единства и борьбы противоположностей), а философская дискуссия 1947 г. («эпоха Александрова») – своего рода антитезис: практическое отрицание истории философии как таковой, окончательная дискредитация философской традиции и философского дискурса, превращение философии в идеологическую журналистику на текущие политические темы – результаты перехода количества в качество. Так что наступившая в результате смерть философии предстает одновременно синтезом и отрицанием отрицания. Возникший тупик (диамат и истмат были фактически закрыты «философской главой» «Краткого курса» и дальнейшей разработке не подлежали, а после атак на книгу Александрова в 1947 г. оказалась закрытой и история философии) оставлял единственную нишу для философии – чистую партийность, паразитирующую на критике зарубежной науки для нужд «идеологической борьбы» в разразившейся холодной войне.

О том, что мы будем иметь дело с процессом, который шел по линиям, заданным в исходном «тезисе» («отрицании»), можно убедиться, обратившись к статье «Меньшевистствующий идеализм», опубликованной в «Философской энциклопедии», автор которой – назначенный еще Сталиным главный эксперт по борьбе с этим «уклоном» Митин так суммировал основные его характеристики: «...Пренебрежение принципом партийности, отрыв теории от практики, философии от политики, «гегелизирование» материалистической диалектики, непонимание, игнорирование ленинского этапа в развитии марксистской философии» [35. С.388]. Итак, 1) партийность; 2) авторитет вождя; 3) Гегель. Эти три фактора станут центральными в дальнейшем разрывании сталинской диалектической триады.

(Антитезис) Философ Жданов:

Закон перехода количества в качество

Эпоха Александрова в советской философии отличалась от эпохи Митина и Юдина, когда доминировала «марксистско-ленинская философия», возрождением истории философии. Она стала областью, где продолжала теплиться философская мысль уже потому, что, в отличие от диалектического и исторического материализма, где истина в последней инстанции была установлена и закреплена в сталинской «философской главе» «Краткого курса», а потому не подлежала какому бы то ни было обсуждению или толкованию, в области истории философии не установился прочный канон: «классики марксизма» просто не успели высказать «основополагающих суждений» относительно всех сторон истории философии. Многие темы оставались неразработанными, многие проблемы и имена – открытыми для обсуждения. Кроме того, «сюда труднее было добраться дилетантам от философии, ведь, помимо языка, надо было знать труды мыслителей прошлого, литературу, полемизирующую с ними или анализирующую их идеи, раскрывающую социально-культурный контекст возникновения философских систем прошлого» [17. С. 111].

Александров был историком философии. В мае 1939 г. он защитил докторскую диссертацию, посвященную философии Аристотеля¹, и тогда же перешел на работу из Коминтерна в только что созданный по решению XVIII съезда ВКП (б) Агитпроп ЦК, который спустя год возглавил. (См.: [25. С. 631]). Влияние Александрова на философскую науку в этот период стало определяющим не только благодаря его статусу, но и тому, что на всех основных постах в ЦК и философских институциях он расставил своих выдвиженцев, так называемых александровских мальчиков, которые сохранили свои посты и после падения патрона в 1947 г., возглавляя «философский фронт» вплоть до горбачевской перестройки.

Самым амбициозным проектом накануне войны стала многотомная «История философии», которой предстояло в свете сталинского марксизма переоценить историю человеческой мысли. Разумеется, параметры этой истории задавались общим состоянием историко-философской науки. Один из активных участников философской жизни сталинской эпохи Захар Каменский так сформулировал итоги ее развития в 1930-е гг.: именно в это время

завершается формирование догматической формы советской истории философии как науки: завершается процесс выдвижения, с одной стороны, основных ее догм, а с другой — позитивных принципов этой науки главным образом в их гегелевском толковании и некоторых самостоятельных разработок, прежде всего связанных с интерпретацией классических марксистских идей. Что касается догм, то к их числу можно отнести: неумеренное прославление роли Ленина в формулировании принципов истории философии как науки, причисление Сталина к лику классиков марксизма-ленинизма, присоединение его к числу основоположников целостного учения — Марксу, Энгельсу, Ленину, приоритет социально-исторической интерпретации в истолковании детерминации историко-философского процесса, партийность, борьба материализма и идеализма как одна из основных закономерностей историко-философского процесса, критика инакомыслящих. Такова, в сущности, эклектическая система, которая была сформулирована в 30-е гг. в советской литературе по истории философии как науки [36; 37].

Сочетание этой идеологической эклектики с политической волатильностью дисциплины создавало условия для резких сдвигов. Их инициатором стал Зиновий Белецкий, заведующий кафедрой диамата и истмата МГУ с предвоенного времени. Одновременно с 1934 по 1943 г. он являлся парторгом Института философии АН СССР. Это был один из самых эксцентричных персонажей в советской философии. В «красном террористе» советской философии, как он воспринимался современниками, «явил себя дух отчаянного марксистского философствования, которого уже не воскресить» [7. С. 218]. С этой характеристикой Г.С. Батыгина и И.Ф. Девятко можно было бы согла-

¹ Тогда же были защищены докторские диссертации по истории философии В.Ф. Асмуса по теме «Эстетика классической Греции», а в марте 1940 г. Б.Э. Быховского по философии Декарта. Это было начало так называемой диссертационной эпохи советской философии. До этого времени присуждались только ученые степени кандидата философских наук в МИФЛИ. В 1937–1938 гг. здесь были защищены 36 кандидатских диссертаций по философии, из которых 27 были посвящены проблемам истории философии (в том числе 15 по истории философии народов СССР) и 9 по диалектическому и историческому материализму.

ситься, если бы безоглядный радикализм не сочетался в нем со злобным обскурантизмом и дремучим невежеством. Трудно сказать, что в философствовании Белецкого, считавшего всю гегелевскую философию «идеалистической шелухой» (что даже Митин назвал «крайне вульгаризаторской, пределом вульгаризма и ревизией ленинских и сталинских установок» [25. С. 633]), было марксистского. О нем ходило множество анекдотов. Согласно одному из них, на вопрос: что есть истина, он, распахнув окно аудитории (а философский факультет находился тогда на Моховой, напротив Кремля) и, указав на Кремль, воскликнул: «Вот она – Истина!» [7. С. 226]. Единственным его научным достижением была непринятая к защите докторская диссертация о немецкой классической философии, в которой предпринималась попытка найти у Фихте и Гегеля идеи, ставшие популярными в нацизме. На этот раз он написал Сталину письмо, где утверждал, что авторы третьего тома «Истории философии» возвеличивают Гегеля. Именно в это время появилась приписываемое Сталину определение гегелевской философии как аристократической реакции на французскую революцию.

Интенсивность атак на немецкую классическую философию была во время войны вполне ожидаема. Однако порвать с ней, и в особенности с Гегелем, было невозможно: статус гегелевской диалектики был в марксизме высок и многократно подтвержден самими «основоположниками». Гегелевская диалектика была названа Лениным одним из источников марксизма. Ее революционный потенциал был определяющим. Реакционной объявлялась «идеалистическая система» Гегеля, тогда как «метод» – революционным. В этом свете Гегель рассматривался как часть «гуманистического наследия» человечества (в том числе и немцев, наряду с Гете, Гейне и Бетховеном), которое якобы противостоит человеконенавистнической философии «фашистских каннибалов». Теперь требовался пересмотр этого подхода.

Постановление ЦК ВКП(б) от 1 мая 1944 г., направленное против «возвеличения Гегеля», было спровоцировано письмом Белецкого Сталину от 27 января 1944 г. Сталин не преминул воспользоваться атаками Белецкого на авторов посвященной эпохе расцвета немецкой классической философии третьего тома удостоенной Сталинской премии I степени «Истории философии» для укрепления националистической идеологии, что было актуальной политической задачей во время войны. Задача эта, разумеется, не артикулировалась, но была закамуфлирована под борьбу с «серьезными теоретическими и идеологическими ошибками», якобы допущенными авторами.

В любом политическом решении сплетаются интересы различных групп, и потому каждое такое решение имеет множество разных (в том числе и непредвиденных) последствий. Доносом Сталину Белецкий преследовал свои цели: будучи личным врагом Александрова, он рассчитывал на то, что атака на него в этот момент могла нанести вред всесильному начальнику Агитпропа ЦК. Сталин решал здесь политико-идеологические задачи (и лишь попутно производил обычное «кадровое обновление» на «философском фронте»). Но оказалось, что Александров, чья функция была служить инструментом в руках Сталина, сумел блестяще использовать ситуацию в карьерных целях, не только разделившись со своими главными противниками Митиным и Юдиным, но и укрепив свои аппаратные позиции.

В феврале – марте 1944 г. под руководством Г.М. Маленкова в ЦК ВКП(б) прошло совещание по вопросам немецкой классической философии. В трех заседаниях (25 февраля, 10 и 11 марта) приняло участие около 20 человек (секретарь ЦК А. С. Щербаков, авторский коллектив «Истории философии», руководители Агитпропа и др.). На этом совещании был особенно ошутим контраст между марксистской риторикой образца 1930-х гг. и новой идеологической парадигмой 1940-х. Так, Щербаков, откинув прежние интернационалистские схемы, без обиняков заявил: «Наш враг – немцы. Выиграть такую небывалую войну нельзя без того, чтобы не ненавидеть наших врагов-немцев всем своим существом. В этом направлении известную работу проделали Толстой, Эренбург, Тарле. Разве не главное сейчас разбить немцев? А Юдин сидит в башне из слоновой кости, проповедует принцип «наука ради науки» и не хочет видеть, что творится в жизни» (Цит. по: [38. С. 255]). А ответственный работник аппарата ЦК Н.Н. Шаталин на заключительном заседании был еще более резок: «Почему вы сейчас нашли время для того, чтобы защищать немцев? Немцы сами себя защищать будут, когда мы их будем вешать, а вы нашли время – на трех заседаниях все немцев защищаете. И это в Отечественную войну» [38. С. 255].

Как показали Г. С. Батыгин и И. Ф. Девятко, в ходе этого совещания стало ясно, что в схватке участвуют не две стороны (Белецкий против Митина/Юдина), но три. В этом «триангулярном конфликте» исход борьбы определяется альянсом двух слабых сторон против сильной третьей: «Белецкий был независимо от его «сознания» присоединен к группе Александрова. Сделано это было элементарно. Будущий директор Института философии «александровец» Светлов обрушил серию мощных ударов на третий том и вскрыл положение в философской науке». Выставив в ходе совещания у Маленкова на показ скандальный факт выдвижения на соискание Сталинской премии «русского» тома «Истории философии», которое граничило с подлогом, Светлов окончательно дискредитировал прежнее «философское руководство»:

Так, в прорыв, подготовленный Белецким, вошли тяжелые колонны Александрова, который все время многозначительно молчал. Наступление развил Кружков – будущий директор ИМЭЛа – и без особых хитросплетений заявил, что Митин и Юдин – против русской философии. Так, 10 марта, само собой прояснилось, что во всем виноваты Митин и Юдин. «Александровцы» наперебой давали им принципиальную партийную оценку: «Митин и Юдин стали на неправильный, ложный путь» (Ильичев), «Юдин и Митин совершают грубейшие политические ошибки» (Кафтанов), «Юдин и Митин пренебрежительно относятся к русской философии» (Иовчук). Даже Кольман, непричастный к аппаратным интригам и не поступавшийся принципами ради тактических успехов, пожаловался на то, что «все руководящие научные высоты в области философии заняты одним Юдиным». А главный редактор и первого, и второго, и третьего, и шестого томов «Истории философии» Александров не только не чувствовал себя ответственным за ошибки, но укоризненно смотрел на Митина и Юдина [25. С.633].

Результатом стало секретное постановление ЦК ВКП(б) от 1 мая 1944 г. «О недостатках в научной работе в области философии» (№1143/110)¹, «положившее конец влиятельному митинско-юдинскому альянсу и, вероятно, завершившее целый период в истории советской философии – с разгрома «меньшевиствующего идеализма» в 1931 г. до 1944 г.» [25. С. 633].

Как утверждают Батыгин и Девятко, «причины партийного вмешательства в историю немецкой классической философии следует искать в развертывании нового витка позиционного конфликта внутри философского сообщества». Обе партии – митинско-юдинская и александровская – имели свои цитадели (в руках первых находились журнал «Под знаменем марксизма», Институт философии, центральные издательства, в руках вторых – Агитпроп ЦК), но между ними сохранялся баланс сил. В 1944 г. этот баланс был решительно нарушен. Ирония состояла в том, что Белецкий «вряд ли мог предвидеть, что следствием его письма станет постановление ЦК ВКП(б) и удар будет направлен рикошетом против Митина и Юдина, которые были «завязаны» на злосчастном томе как члены редколлегии». Целясь в своего личного врага Александрова, он не предполагал, что тот бесцеремонно использует его для резкого укрепления своих позиций: «...С тех пор погоду в философии стали делать Александров и его люди: Васецкий, Иовчук, Кружков, Федосеев» [25. С.633] (а также, добавим, Светлов, Ильичев, Поспелов) – началась эпоха «александровских мальчиков». Смещение Митина и Юдина с высоких постов привело к замене их выдвиженцами Александрова. С. Кружков сменил Митина на посту директора ИМЭЛ при ЦК ВКП(б), а В. Н. Светлов сменил Юдина на посту директора Института философии АН СССР. Белецкий же в качестве компенсации 4 ноября 1944 г. указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Трудового Красного Знамени. И все же понять причины последовавшей философской дискуссии 1947 г. один только «позиционный конфликт внутри философского сообщества» нам не поможет. Он был лишь отправной точкой для последующих событий.

Одержав серьезную аппаратную победу, Александров решил резко упрочить свое положение на философском олимпе ещё и академически, выпустив свой учебник 1939 г. «История западноевропейской философии» вторым изданием в 1945 и 1946 гг. Фактическое собрание лекций 1930-х гг. в виде очерков о европейских философах было издано огромным тиражом (только тираж 1946 г. был 50 тыс. экз.) и рекомендовано Министерством высшего образования СССР в качестве учебника для вузов. В печати прошла кампания восхваления книги, а вчерашние противники Александрова – Митин и Юдин – выдвинули книгу на соискание Сталинской премии, которая была ей присуждена. 30 ноября 1946 г. Александров стал академиком АН СССР. Но здесь последовал новый донос пытавшегося восстановить справедливость Белецкого. И вновь Сталин вял его аргументам. На этот раз причины и последствия кампании были совсем иными.

¹ Оно не печаталось, но было изложено в ст.: *Федосеев П. О недостатках и ошибках в освещении немецкой философии конца XVIII и начала XIX веков // Большевик. – 1944. – № 7–8; См.: Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) и ВКП(б). 1922–1952 / Сост. В.Д. Есаков. – М.: РОССПЭН, 2000.*

Бесспорно, за фасадом «творческого развития марксизма» и борьбы с «уклонами» внутри советской философии шла непрерывная и беспощадная по-настоящему *партийная* борьба, а точнее, «тихая, но безжалостная война» [39. С. 211]: подобно тому, как победа Деборина в 1920-е гг. означала падение радикальных марксистов, а возвышение Митина и Юдина на рубеже 1930-х – падение Деборина, возвышение Александрова накануне войны означало падение сталинских философских олимпийцев Митина и Юдина, которые находились в открытой оппозиции к Александрову и его многочисленным ставленникам. Эта внутридисциплинарная борьба (которая шла во всех научных дисциплинах) в данном случае имела куда более серьезные последствия, поскольку в силу самого статуса дисциплины философы занимали ключевые идеологические позиции в стране – от руководства Агитпропом ЦК до руководства Институтом Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина, Высшей партшколой при ЦК, главным теоретическим органом партии журналом «Большевик», газетой «Известия», ОГИЗом и мн. др. ключевыми политическими институтами, входившими в номенклатуру ЦК. Этой связью традиционно объяснялись события 1944–1947 гг. на «философском фронте».

Предполагается, что смещение Александрова стало результатом многоходовой операции Маленкова и Берия по ослаблению аппаратных позиций Жданова. Как отмечает В.Н. Садовский,

В высшем эшелоне партийной и государственной элиты происходила не очень заметная обывателю, но тем не менее совершенно очевидная *борьба за власть между двумя группами членов Политбюро*: группой Маленкова – Берия и группой Жданова, к которой примыкали Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов, М.И. Родионов, П.С. Попков и другие. Эта борьба отражалась, скорее, не зеркально, но тем не менее ее можно было явно обнаружить в *противостоянии двух ведущих в то время группировок официальной советской философии* – группы М.Б. Митина и П.Ф. Юдина, которая безраздельно господствовала в 30-е годы, и группы Г.Ф. Александрова, постепенно захватывавшей лидирующие позиции в советской философии в 40-е годы» [40. С. 33].

Эта точка зрения, разделяемая многими авторами, не учитывает того обстоятельства, что в 1947 г. Александров не был «человеком Жданова». Для Жданова он был, скорее, «человеком Маленкова», проработав под его руководством с 1940 г. до конца войны. Вот почему в том, что Александрова особенно жестко критиковал именно Жданов, – как вспоминал участвовавший в дискуссии А. Зись, «обсуждение книги, и особенно критические замечания по ее адресу, доставляли Жданову явное и нескрываемое удовлетворение» [41. С. 47], в свое время выдвинувший его на пост главы Агитпропа, – нет ничего удивительного. По словам заместителя начальника Агитпропа и побочного сына Сталина Константина Кузакова, главный идеолог партии Жданов перед войной сформировал руководство создаваемого Управления ЦК из тех людей, которым доверял. Однако поскольку с началом войны он проводил большую часть времени в Ленинграде, а затем был назначен советским заместителем в Финляндию, оставшийся без присмотра Агитпроп оказался под контролем Маленкова. Так что когда Маленков попал в опалу в 1946 г.,

Жданов воспользовался случаем, чтобы наказать «неверных выдвиненцев». Для каждого нашлись свои обвинения (сам Кузаков, например, был обвинен в том, что проглядел американского шпиона в своем окружении). (См.: [42]).

Тот факт, что Александров не был «человеком Жданова», подтверждает в своих воспоминаниях преемник Александрова на посту главы Агитпропа Шепилов: якобы Жданов говорил Шепилову, что Александров и его «кумпания» заняты «стяжательско-карьеристской» деятельностью, что «все эти александровы, кружковы, федосеевы, ильичевы, окопавшиеся на идеологическом фронте и монополизировавшие всё в своих руках, это – не революционеры и не марксисты. Это – мелкая буржуазия. Они действительно очень далеки от народа и больше всего озабочены устройством своих личных дел» (См.: [43. С. 125–133]). Ничто не подтверждает вывода Эйтана Поллока о том, что, «когда Александров потерял свои позиции в Агитпропе, Жданов потерял ключевого союзника в идеологическом крыле партии. Суслов и Шепилов, новые фигуры в Агитпропе, не были обязаны своему продвижению Жданову и он не мог рассчитывать на их поддержку в конфликте с Маленковым и Берия, двумя главными соперниками в партии» [44. Р. 40].

Непозволительно много для партийного функционера его уровня печатаясь, Александров в годы войны собрал свои статьи по военным вопросам в периодической печати и издал отдельной книгой «Враг будет разбит». Известно, что Жданов отреагировал на это резко отрицательно, якобы сказав, что Александров ведет себя нескромно изданием такой книги: выходит книга товарища Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза», и Александров ставит свою книгу чуть ли не рядом с ней, что считается нарушением неписанных правил. И в течение некоторого времени после этого он вообще не появлялся в печати [41. С.47].

Куда важнее то, что «нескромностью» Александрова был якобы возмущен Сталин, узнав из очередного письма Белецкого, что буквально через несколько месяцев после присуждения книге Александрова Сталинской премии сам он был произведен в академики, а три его заместителя – П. Н. Федосеев, М.Т. Иовчук и А.М. Еголин стали членами-корреспондентами АН СССР. Якобы Сталин даже требовал от Президента АН СССР Вавилова «вернуть их всех обратно» и, узнав, что, согласно уставу Академии, это сделать невозможно, пообещал «принять свои меры». Иовчук, от которого исходило указание Вавилону о приеме партийных начальников в Академию наук, был тут же отправлен в Минск секретарем ЦК Белоруссии по пропаганде [4. С. 80]. Но сказались здесь не только неприязнь Сталина к зарвавшемуся чиновнику и так называемым александровским мальчишкам (карьера многих из них резко пойдет вниз после дискуссии: в августе 1947 г. Александров был снят с поста начальника Агитпропа (его место занял Суслов) и стал директором Института философии; Федосеев покинул пост первого заместителя начальника Агитпропа (этот пост достался Шепилову), а вскоре – и главного редактора журнала «Большевик»; Иовчук был отправлен в Минск, а Еголин переведен на пост директора Института мировой литературы).

Куда важнее было нарушение Александровым иерархических правил и «потеря доверия» вождя. Используя в целях резкого усиления своего

личного аппаратного положения постановление ЦК, Александров, который к концу 1946 г. уже шесть лет возглавлял Управление агитации и пропаганды ЦК, являлся кандидатом в члены ЦК и членом Оргбюро и наиболее влиятельным профессиональным философом страны, позволил себе нарушить неписанные номенклатурные законы. Обладавший исключительным аппаратным чутьем, Сталин не мог не видеть проделанного Александровым в 1944 г. аппаратного эндшпиля и мог даже посчитать себя лично оскорбленным: Александров не просто возомнил себя самостоятельной политической фигурой, но позволил себе то, что никто, кроме Сталина, позволять себе не мог, а именно – разыграть собственную аппаратную интригу для усиления личного влияния путем расстановки на все ключевые идеологические посты своих людей, используя в *своих* целях *сталинский* гамбит. Подобное использование сталинских решений в своих целях не могло остаться ни незамеченным, ни безнаказанным. Сталин зорко следил за тем, чтобы никто из его окружения чересчур не укреплялся, не создавал свою номенклатурную группу и не вел свою игру. Александров дал основания заподозрить себя в подобных поползновениях. Думается, что именно поэтому Сталин решил не просто снять Александрова, но провести его по всем кругам аппаратного и академического унижения. Так родилась идея «философской дискуссии».

Снятие Александрова не было поэтому результатом козней Маленкова и Берии. Оно было на руку Жданову, способствовало укреплению его аппаратного веса и позволило ему привести в Агитпроп своих людей – М.А. Сулова, сменившего Александрова на посту начальника Агитпропа, и его заместителя – Шепилова и др. Оба на многие годы станут ключевыми фигурами советского «идеологического фронта».

Характерно, что в письме Белецкого Сталину от 18 ноября 1946 г., давшем ход кампании против Александрова, содержались намеки на нескромность начальника Агитпропа, позволившего себе не только ревизовать решение ЦК 1944 года по третьему тому «Истории философии» (после того, как использовал его в собственных карьерных целях) и избранного в академики, но и организовавшего хвалебную кампанию своей книги, «протолкнувшего» ее на Сталинскую премию за 1946 г., а главное, создавшего вокруг своей книги такой ажиотаж, что многие стали причислять ее (в силу должности автора) «к классическим работам»: «Позиция Сталина как единственного «четвертого классика» марксистской науки явно ставилась под угрозу», замечает в этой связи Е. Плимак [45. С.11]. Так что, несомненно, одна из задач состояла в том, чтобы подтвердить, что в стране есть только один философ. И если он сказал в 1944 г., что Гегель являлся «аристократической реакцией на Французскую революцию», то никто не может эту позицию без его ведома пересматривать. Уже тот факт, что резолюция ЦК (то есть лично Сталина) *воспринималась* как дезавуированная Александровым (пусть в реальности ничего подобного и не было), был достаточным основанием для публичной обструкции. Это желание Сталина осадить выскочку и укрепить свой статус корифея всех наук было настолько ощутимым, что не раз проговаривалось участниками дискуссии в их выступлениях. Так, Я.А. Мильнер заявил:

я нахожу т. Александрова способным философом и еще более способным организатором. Но он стремился подавить своим служебным положением какое-либо движение на философском фронте. Он слишком увлекся игрой в создателя школы наподобие Аристотелевского лицея. Он, видимо, забыл, что истинный глава школы вот уже более полстолетия как работает не покладая рук на радость и счастье всего передового и прогрессивного человечества (404)¹.

Кампания против Александрова была не просто инициирована Сталиным, но направлялась им вплоть до малейших деталей. Так, Жданов не только отправлял свой доклад на одобрение Сталина, но должен был спрашивать его разрешения на исключение из стенограммы и редактуру трех текстов выступлений в ходе дискуссии. Более того, кампания была доведена Сталиным до конца, несмотря на то, что повторная дискуссия, инициированная им, никак не была серьезно мотивирована. Когда ему показалось, что в январе 1947 г. Александров сумел спустить затеянную им кампанию на тормозах, вожь настоял на проведении повторной (во всех иных смыслах бесполезной) дискуссии, в ходе которой Александров был все же окончательно унижен.

Сталин проводил эту кампанию по своим обычным правилам: с усыплением бдительности жертвы и созданием психологически амбивалентной ситуации: после первой дискуссии Сталин поручил Александрову выступление с докладом, посвященным 23-й годовщине смерти Ленина. Это было знаковое поручение, свидетельствующее об особом политическом доверии. Только что Александрова критиковали за антимарксистские ошибки, и вот он по поручению Сталина выступает со столь ответственной речью. Это ставило аппаратчиков и философов (все они были подчиненными Александрова) в сложную ситуацию. В подобной же ситуации проходила летом того же года и вторая дискуссия, когда от участников требовалось очень резко выступать против собственного начальника, а начальник должен был униженно признавать самую вздорную критику. «Возможно, ему (Сталину. – Е.Д.) доставляло удовольствие наблюдать, как будут вести себя его идеологические клеветы в специально созданной для их испытания ситуации», – замечает по этому поводу Ю. Кривоносов [46. С. 71].

Кроме того, проведением широкой кампании (вместо простого смещения Александрова) Сталин решал и другую задачу. Происшедшее с Александровым должно было служить остражкой всех уровней партаппарата. Ведь «если лицо, занимавшее высокий партийный пост и увешанное многочисленными регалиями, может быть подвергнуто публичной «порке» за не очень ясные отступления в области истории философских проблем – что тогда говорить о других?.. никакие прежние заслуги и награды не смогут оградить от ответа за идеологические прегрешения (мнимые или действительные), если так посчитает партийный ареопаг» [46. С. 66]. Никто не гарантирован от обструкции – это напоминание об отсутствии гарантий делало интеллектуальную элиту особенно восприимчивой к принципу партийности.

¹ Стенограммы дискуссии по книге Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии» были опубликованы в первой книжке журнала «Вопросы философии» за 1947 г. В дальнейшем все ссылки на это издание с указанием страниц в тексте в круглых скобках.

Следует также иметь в виду, что самое появление Александрова на советском философском олимпе привело к изменению установившегося в 1930-е гг. статуса советской философии как главной идеологической дисциплины. Как мы видели, ее становление прошло ряд этапов, в ходе которых сформировались основные ее принципы. Прежде всего, это доминирование диамата и истмата (Александров же выдвинул на первый план историю философии); партийность, хорошо совместимая с истматом, плохо подходила к истории философии; статус Сталина как абсолютного авторитета в области философии (став автором курса истории философии, Александров утверждал свой личный авторитет в этой области, подкрепленный его аппаратным статусом, что было нарушением неписанных номенклатурных правил). Одних этих «внутрифилософских» причин было достаточно для смещения Александрова.

Таким образом, организовав дискуссию, Сталин не только решал «кадровый вопрос» (который мог решить и без дискуссии), но и сугубо дисциплинарный: в конце концов, основная функция философии, как он ее понимал, сводилась к идеологической легитимации режима, а вовсе не к собственной истории. Доминирование истории философии при Александрове лишало главную идеологическую дисциплину ее *raison d'être*. На это обратили внимание наиболее проницательные участники дискуссии. Так, активный участник тех событий академик Т.Л. Ойзерман утверждал, что дискуссия «фактически была нацелена против философии, в особенности против истории философии, в частности, против изучения немецкой классической философии, а также современной западноевропейской и американской философии» [47. С. 23–24].

Сталин мыслил политически. Его рассуждения, определения и оценки всегда имели второй (основной) план. В его перформативном языке приказов, запретов и распоряжений находила выражение сама природа философствования как реализации воли к власти. Если верно, что «стремление к философскому правлению неотделимо от самой философии», то высокий статус советской философии соответствовал природе философии как таковой: «Если мы не хотим управлять тотальностью мира, то зачем, спрашивается, вообще эту тотальность мыслить? Отказываясь от претензии на тотальную власть философии, мы отказываемся и от самой философии, которая в этом случае сводится к истории философии» [2. С. 69]. Последнее – история философии – должно пониматься как «чистое искусство», формализм, философия, лишенная властного содержания, философия после философии. Вот почему для Сталина, видевшего в философии политический инструмент, доминирование истории философии являлось не просто бесполезным, но контрпродуктивным.

Итак, в ноябре 1946 г. Белецкий отправил Сталину очередное письмо, где утверждал, что в книге Александрова решение ЦК о третьем томе «Истории философии» «сведено на нет», что оно якобы «истолковывается в новом смысле». Он сообщал Сталину, что «выдвинута странная теория о том, будто это решение было вынесено не в связи с какими-то принципиальными, теоретическими ошибками, допущенными в третьем томе, а по конъюнктурным соображениям: шла, мол, война с немцами, нужно было тогда их бить. Война закончилась, теперь следует все поставить на прежнее место». Глава Агитпропа ЦК был обвинен не просто в пересмотре резолюции ЦК, но в своего

рода идеологической диверсии: пересмотр осуществлялся «под маской» «беспардонного, академического изложения» философских теорий прошлого вместо политически окрашенной критики философов. Поскольку же «руководящие работники философского фронта являются руководящими работниками Управления пропаганды ЦК», «по занимаемому положению они обязаны давать лишь директивы, что и делают. У них в руках и печать, и академии, и пр. и пр.». Высказывания партийных функционеров столь высокого ранга превращали каждое их слово в «директивы», а потому возвеличивание, например, Гегеля превращалось в «руководящее указание».

Предложив в конце декабря 1946 г. организовать обсуждение «Истории западноевропейской философии» в Институте философии, Сталин ставил своей целью показательную порку начальника Агитпропа. Дискуссия проходила в течение трех дней – 14, 16 и 18 января 1947 г., а в конце месяца материалы обсуждения были направлены в секретариат А.А. Жданова. Однако обсуждение, прошедшее в январе 1947 г., оказалось не просто «беззубым», но явно походило на саботаж: поскольку никаких конкретных указаний «философская общественность» не получила, то и критиковать своего непосредственного руководителя – начальника Управления пропаганды и агитации ЦК – не решалась. На заседании присутствовал секретарь Сталина Александр Поскребышев, поэтому информацию о происходившем в Институте философии Сталин получил не только из стенограмм, но и непосредственно. В Агитпропе ЦК долго готовилась статья для журнала «Большевик», где должно было освещаться обсуждение в Институте философии, которая так и не увидела свет. Сталин заявил, что «как организация дискуссии, так и способ подведения ее итогов оказались неудовлетворительными. К дискуссии не были привлечены работники из республик и других крупных городов, кроме Москвы. Часть записавшихся в прениях не получила слова... По всем этим причинам дискуссия оказалась куцей, неэффективной и не принесла должных результатов». Он настоял на проведении новой, широкой дискуссии, поручив ее проведение Жданову, который дословно повторил при открытии дискуссии сталинские характеристики: первая дискуссия «оказалась бледной, куцей, неэффективной». Вторая дискуссия, на этот раз проходившая в ЦК под руководством Жданова с 16 по 25 июня 1947 г., имевшая намного более высокий статус, и в официальных партийных документах она называлась «Совещанием работников научно-философского фронта, посвященным дискуссии по книге Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии»».

О статусе акции свидетельствовал сам состав участников, превращавший ее в важное политическое мероприятие, выходящее далеко за пределы внутрифилософских споров. И в самом деле, если на первом обсуждении, проходившем в Институте философии АН СССР, присутствовали в основном работники самого Института философии, АОН при ЦК, работники ЦК и преподаватели философии – почти исключительно столичные философы¹, то состав участников второй дискуссии определялся в аппарате ЦК. Причем, по настоянию Сталина, туда вошли секретари ЦК, руководители отделов ап-

¹ В ходе совещания выступило 19 человек. При регламенте до 40 мин. доклады были весьма развернутыми. Материалы этого совещания хранятся в архиве Жданова (РГАСПИ. □ Ф. 77. □ Оп. 3. □ Ед. хр. 31).

парата ЦК, руководители республиканских, областных, местных парторганизаций, партактив Москвы и Ленинграда... Кроме практически всей партийной номенклатуры, двумя отдельными списками перечислены представители Академии наук СССР и ее институтов, писатели, сотрудники редакций... По своему составу, как точно заметил П. Дружинин, «это был общенародный идеологический форум» [48. С. 126]. В президиуме второй дискуссии были секретари ЦК Жданов, Кузнецов, Сулов, а также Шкирятов, Александров, Федосеев, Кружков. В зале присутствовало 424 человека. Причем, из республик и др. городов – 127 чел., философских работников из Москвы – 161 чел, научных работников из др. областей – 48 чел., партийных работников – 88 чел.¹ Масштаб и статус этого второго обсуждения должны были соответствовать задачам. Задачи эти были политическими, сфокусированными на персоне Александрова и, как водится, идеологически «упакованными».

Книге Александрова инкриминировалось, прежде всего, отсутствие партийности. Уже в давшем ход всем последующим событиям письме Белецкого Сталину от 18 ноября 1946 г. говорилось, что книга Александрова представляет собой «беспардонное академическое изложение». Это «объективистское изложение» и стало главным обвинением. Обе дискуссии вращались вокруг сталинских указаний. Известно, что они были высказаны им в телефонном разговоре с Секретарем ЦК, главным редактором «Правды» Поспеловым, который длился 1 час 15 минут.

Сталин отметил в книге Александрова прежде всего оторванность от политической борьбы, аполитичность, недостаток боевого политического духа, образцом которого являются ленинские работы по философии. Второе, что не устроило «вождя», – это неверное, с его точки зрения, освещение немецкой классической философии, особенно философии Гегеля, которую автор оценивал как консервативную, а Сталин – как реакционную, вызванную страхом перед Французской революцией и направленную против французских материалистов. И, наконец, третье – это недостаточно сильная, по его мнению, характеристика марксизма как системы взглядов, ниспровергающей всю (!) буржуазную науку, а появление марксизма – как революцию в философии [49. С. 349].

Перед нами, по сути, сценарий дискуссии 1947 г. и последующей перестройки философии. Нам предстоит прочесть ее интеллектуальный сюжет.

Когда говорилось о «партийности советской науки», речь шла, прежде всего, о философии. Якобы через нее, науку наук, партийность проявляла себя имплицитно и в специальных науках – от биологии и физиологии до химии и физики². Понятно, что в области истории философии принцип партий-

¹ Прошло 8 заседаний; в прениях записалось 98 чел.; выступило 46 чел (РГАСПИ. □ Ф. 77. □ Оп. 3. □ Ед. хр. 32).

² Характерно в этом смысле выступление в ходе дискуссии одного из главных «механистов» 1920-х гг. А.К. Тимирязева, проделавшего эволюцию от защитника естественных наук от экспансии философии в борьбе с наукой. Он предупреждал участников дискуссии, что «современная теоретическая физика наводнена сейчас враждебными философскими течениями, тормозящими её развитие; этим враждебным течениям не даётся должного отпора. Вот почему отставание нашей философской работы ведёт к отставанию физики и других естественных наук». Кедров даже просил у Жданова

ности не манифестировал себя столь открыто, как в других областях «марксистско-ленинского учения», скажем, в историческом материализме или научном коммунизме, которые были не просто «идеологическими дисциплинами», но являлись, по сути, сформулированной в абстрактных (философских) категориях чистой идеологией. Где партийность проявляла себя еще более явно, так это в советском искусстве, задача которого сводилась к материализации «в художественных образах» абстрактных идеологических схем.

Эта родственность партийности в философии и в искусстве нашла отражение в эстетизации советского философского метадискурса. Самое занятие философией стало описываться в тех же словах, что и работа советских писателей: «Советские философы призваны творчески разрабатывать вопросы о закономерностях развития нашего общества [...] обобщать богатейший материал, который дает практика социалистического строительства, уметь отыскивать ростки нового, осмысливать их значение, [...] быть в первых рядах работников идеологического фронта, ведущих развёрнутое наступление на пережитки капитализма в сознании советских людей». А Митин призывал философов «в боевых публицистических статьях и выступлениях отображать живительные силы социализма, могущество нашего государства, моральную силу нашей идеологии, величие нашей советской системы, их преимущества перед разлагающейся буржуазной идеологией и буржуазным миром» и требовал «поставить перед нашими научными кадрами задачу воспеть, восславить в серьезных научных исследованиях наше государство, государство нового типа». Эта дискурсивная связь не была случайной: в советском искусстве принцип партийности был имплементирован раньше, чем в философии.

Литература

1. РГАНИ. – Ф. 3 (Архив Политбюро ЦК КПСС). – Оп. 34. – Ед. хр. 189.
2. Гройс Борис. Коммунистический постскрипtum. – М.: Ад Маргинем, 2001.
3. Поттер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.
4. Соколов В. В. Некоторые эпизоды предвоенной и послевоенной философской жизни (Из воспоминаний) // Вопросы философии. – 2001. – № 1.
5. Безансон Ален. Бедствие века: Коммунизм, нацизм и уникальность Катастрофы. – Москва; Париж: Издательство «МИК»; «Русская мысль». – 2000.
6. Леонов М. А. Место и роль философии в общественной жизни // Вопросы философии. – 1952. – № 1.
7. Батыгин Г. С., Девятко И. Ф. Дело профессора З. Я. Белецкого // Философия не кончается... Из истории отечественной философии. XX век. 1920–50-е годы. – М.: РОССПЭН, 1998.
8. Яхот И. Подавление философии в СССР (20–30-е годы) // Вопросы философии. – 1991. – № 11.
9. Wetter G. Dialectical Materialism: A Historical and Systematic Survey of Philosophy in the Soviet Union / Transl. from German by P. Heath. New York: Frederic A. Preager, 1958.
10. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – М., 1955. – Т. 3.
11. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – М., 1955. – Т. 3.
12. Адоратский В. Об идеологии // Под знаменем марксизма. – 1922. – № 11–12.
13. Минин С. Коммунизм и философия // Под знаменем марксизма. – 1922. – № 11–12.
14. Румий В. Ответ одному из талмудистов // Под знаменем марксизма. 1923. № 8–9.
15. Дискуссия по книге Г.Ф. Александрова "История западноевропейской философии", 16–25 июня 1947 г. Стенографический отчет // Вопросы философии. – 1947. – № 1.

16. *Делокаров К.Х.* Сциентизация по-большевистски (философия, наука и идеология) // Вопросы философии. – 1997. – № 11.
17. *Огурцов А. П.* Подавление философии // Философия не кончается... Из истории отечественной философии. XX век. 1920–50-е годы. – М.: РОССПЭН, 1998.
18. *Энгельс Ф.* Францу Мерингу 14 июля 1893 // Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные письма. – М., 1947.
19. *Богданов А.* Социализм науки: Сб. – М., 1918.
20. *Сталин И. В.* Анархизм или социализм? // *Сталин И. В.* Сочинения. – М.: ОГИЗ. 1946. – Т. 1.
21. *Есаков Д.Е.* К истории философской дискуссии 1947 года // Вопросы философии. – 1993. – № 2.
22. *Пустарников В. Ф.* Свет и тени в истории советской философии // Вопросы философии. – 1997. – № 11.
23. *Кнорин В.* // Коммунистическая революция. – 1926. – № 12.
24. *Новиков Кирилл.* «Требуется утвердить один авторитет во всех областях» // Коммерсантъ Власть. – 2007. – № 13 (9 апр.).
25. *Батыгин Г. С., Девятко И. Ф.* Советское философское сообщество в сороковые годы: Почему был запрещен третий том «Истории философии»? // Вестник Российской академии наук. – 1993. – Т. 63. – № 7.
26. *Brandenberger David.* Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, Indoctrination, and Terror under Stalin, 1927–1941. New Haven: Yale University Press, 2011.
27. *О журнале «Под знаменем марксизма»* // Правда. – 1931. – 26 янв.
28. *О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)»* // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898–1954. 7-е изд. – М.: Госполитиздат, 1954. – Ч. 3.
29. *Гловинский М.* «Не пускать прошлого на самотек»: «Краткий курс ВКП(б)» как мифическое сказание // Новое литературное обозрение. – 1996. – № 22.
30. *Добренко Е.* Музей революции: Советское кино и сталинский исторический нарратив. – М.: НЛЮ, 2008.
31. *Ленин В.И.* Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. – М.: Изд-во политич. лит., 1968. – Т. 18.
32. *Юдин П.* Некоторые итоги философской дискуссии // Правда. – 1930. 18 окт.
33. *Константинов Ф.* Еще раз о политике и философии // Под знаменем марксизма. – 1936. – № 10.
34. *Митин М.* Гегель и теория материалистической диалектики // Под знаменем марксизма. – 1931. – № 11–12.
35. *Митин М.* Меньшевистствующий идеализм // Философская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1964. – Т. 3. – 588 с.
36. *Каменский З.А.* История философии как наука в России XIX–XX вв. – М.: Эслан, 2001. – 332 с.
37. *Каменский З.А.* Философская дискуссия 1947 года (преимущественно по личным воспоминаниям) // Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования. Вып. VI: Изживая «ждановщину». – М.: АОН при ЦК КПСС, 1991.
38. *Костырченко Г. В.* Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм. – М.: Международные отношения, 2001.
39. *Батыгин Г.С., Девятко И.Ф.* Дело академика Г.Ф. Александрова. Эпизоды 40-х годов // Человек. – 1993. – № 1. – С. 134–146.
40. *Садовский В. Н.* Бонифатий Михайлович Кедров: человек и ученый // Вопросы философии. – 2004. – № 1.
41. *Зись А. Я.* У истоков журнала «Вопросы философии» // Вопросы философии. – 1997. – № 7.
42. *Жирнов Евгений.* Назначены виновными // Коммерсантъ-Власть. – 2003. – 14 апр.
43. *Шенцов Д.Т.* Непримкнувший. – М.: Вагриус. – 2001.
44. *Pollock Ethan.* Stalin and the Soviet Science Wars. Princeton, NJ.: Princeton, 2006.
45. *Плимак Е. Г.* «Надо основательно прочистить мозги» (К 50-летию философской дискуссии 1947 года) // Вопросы философии. – 1997. – № 7.
46. *Кривоносов Ю. И.* Сражение на философском фронте: Философская дискуссия 1947 года – пролог идеологического погрома науки // Вопросы истории естествознания и техники. – 1997. – № 3. – С. 63–86.
47. *К 50-летию журнала «Вопросы философии».* Журнал вчера и сегодня (Встреча в редакции) // Вопросы философии. – 1997. – № 8.

48. Дружинин П. А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы: Документальное исследование. В 2 т. – М.: НЛЮ, 2012. – Т. 1.
49. *Наше Отечество*. Опыт политической истории. – М., 1991. – Т. 2.

Evgeny Dobrenko, Professor of Russian Studies, Head of Department Russian and Slavonic Studies of the University of Sheffield (United Kingdom). E-mail: e.dobrenko@sheffield.ac.uk

METASTALINISM: DIALECTICS OF PARTISANSHIP AND PARTY DIALECTICS

Key words: *history of philosophy, Marxism-Leninism, Stalinism in philosophy, Hegel in Russia, philosophical discussion in 1947, philosophy and the Cold War.*

Soviet philosophy went through a paradoxical transformation - from denial of philosophy as such (with the replacement of it by natural sciences) in the 1920s through the victory of traditional philosophy in the debates between mechanists and Deborin's school in late 1920 to the complete collapse of philosophical discourse by the end of the Stalin era. The coming to power of the "new leadership in philosophy" at the turn of the 1930s led to a sharp increase in the role of ideology in philosophy. Philosophy was regarded as a commissar of sciences. Dialectical and historical materialism became dominant. Only at the end of the 1930s, with the advent of the new head of Agitprop Georgi Alexandrov interest in the history of philosophy was renewed. During the war, the ideological component was beginning to prevail in Party's decisions regarding the philosophy, taking a distinctly political form (negation of German classical philosophy, the invention of "Russian revolutionary-democratic philosophy," etc.). The pinnacle of the campaign was the so-called "Philosophical discussion" of 1947 about Alexandrov's "History of Western European philosophy." During this debate, Stalin solved not only institutional problems, but also ideological. As a result of the discussion, the role of the history of philosophy was marginalized. In the face of fierce ideological confrontation with the West in the early years of the Cold War central place was occupied by the "critique of bourgeois philosophy," which was carried out in line with the counter-propaganda that led to factual disintegration of philosophical discourse.

References

1. The Russian State Archive of Contemporary History (RGANI). Fund 3. List 34. File 189. (In Russian).
2. Groys B. *Kommunisticheskii postskriptum* [The Communist postscriptum]. Moscow: As Marginem Publ., 2001. 123 p.
3. Popper K. *Logika i rost nauchnogo znaniya* [The logic of scientific discovery]. Translated from English by L.V. Blinnikov, V.N. Bryushinkin, E.L. Nappel'baum, A.L. Nikiforov. Moscow: Progress Publ., 1983. 606 p.
4. Sokolov V.V. Nekotorye epizody predvoennoy i poslevoennoy filosofskoy zhizni (Iz vospominaniy) [Some episodes of the pre-war and postwar philosophical life (from the memoirs)]. *Voprosy filosofii*, 2001, no. 1, pp. 69-84.
5. Bezanson Alen. *Bedstvie veka: Kommunizm, natsizm i unikal'nost' Katastrofy* [Disaster of the century. Communism, Nazism, and the uniqueness of the Holocaust]. Moscow, Paris: MIK – Russkaya mys' Publ., 2000. 103 p.
6. Leonov M.A. Mesto i rol' filosofii v obshchestvennoy zhizni [The role of philosophy in public life]. *Voprosy filosofii*, 1952, no. 1.
7. Batygin G. S., Devyatko I. F. *Delo professora Z. Ya. Belet'skogo* [The case of Professor Z.Ya. Belet'skiy]. In: Lektorskiy V.A. (ed.) *Filosofiya ne konchaetsya... Iz istorii otechestvennoy filosofii. KhKh vek. 1920–50-e gody* [Philosophy does not end ... From the history of Russian philosophy. The twentieth century. 1920–50 s.]. Moscow: ROSSPEN Publ., 1998. 717 p.
8. Yakhot I. Podavlenie filosofii v SSSR (20–30-e gody) [Suppression of philosophy in the USSR (20–30s)]. *Voprosy filosofii*, 1991, no. 11.
9. Wetter G. *Dialectical materialism. A historical and systematic survey of philosophy in the Soviet Union*. Translated from German by P. Heath. New York: Frederic A. Preager, 1958. 609 p.
10. Marx K. Engels F. *Sochineniya* [Works]. Translated from German. Moscow, 1955. Vol. 3.
11. Marx K. *Tezisy o Feyerbakhe* [Theses on Feuerbach]. In: Marx K. Engels F. *Sochineniya* [Works]. Translated from German. Moscow, 1955. Vol. 3.
12. Adoratskiy V. Ob ideologii [On ideology]. *Pod znamenem marksizma*, 1922, no. 11–12.
13. Minin S. Kommunizm i filosofiya [Communism and philosophy]. *Pod znamenem marksizma*, 1922, no. 11–12.

14. Rumiy V. Otvet odnomu iz talmudistov [The answer to one of the Talmudic]. *Pod znamenem marksizma*, 1923, no. 8–9.
15. Discussion on the book by G.F Aleksandrov “History of Western philosophy”, 16□25 June 1947. Verbatim Report. *Voprosy filosofii*, 1947, no. 1. (In Russian).
16. Delokarov K.Kh. Stsientizatsiya po-bol'shevistski (filosofiya, nauka i ideologiya) [Scientization a-la Bolshevik (philosophy, science and ideology)]. *Voprosy filosofii*, 1997, no. 11.
17. Ogurtov A.P. Podavlenie filosofii [Suppression of philosophy]. In: Lektorskiy V.A. (ed.) *Filosofiya ne konchaetsya... Iz istorii otechestvennoy filosofii. KhKh vek. 1920–50-e gody* [Philosophy does not end ... From the history of Russian philosophy. The twentieth century. 1920-50s.]. Moscow: ROSSPEN Publ., 1998. 717 p.
18. Engels F. *Frantsu Meringu 14 iyulya 1893* [To Franz Mering, 14th July 1893]. In: Mark K., Engels F. *Izbrannye pis'ma* [Selected letters]. Translated from German. Moscow: Gospolitizdat Publ., 1947. 535 p.
19. Bogdanov A., Malinovskiy A.A. *Sotsializm nauki* [Socialism of science]. Moscow: Proletarskaya kul'tura Publ., 1918.
20. Stalin I.V. *Sochineniya* [Works]. Moscow: OGIZ Publ., 1946. Vol. 1.
21. Esakov D.E. K istorii filosofskoy diskussii 1947 goda [To the history of philosophical discussion of 1947]. *Voprosy filosofii*, 1993, no. 2.
22. Pustarnikov V. F. Svet i teni v istorii sovetskoy filosofii [The light and shadow in the history of soviet philosophy]. *Voprosy filosofii*, 1997, no.11.
23. Knorin V. *Kommunisticheskaya revolyutsiya*, 1926, no. 12.
24. Novikov K. Trebuetsya utverdit' odin avtoritet vo vseh oblastiakh [It is necessary to adopt one authority in all spheres]. *Kommersant "Vlast"*, 2007, no. 13 (9th April).
25. Batygin G.S., Devyatko I.F. Sovetskoe filosofskoe soobshchestvo v sorokovye gody: Pochemu byl zapreshchen tretiy tom “Istorii filosofii”? [The soviet philosophical society in 1940-s. Why was the third volume of “The history of philosophy” prohibited?]. *Vestnik Rossiyskoy akademii nauk*, 1993, vol. 63, no. 7.
26. Brandenberger D. *Propaganda State in crisis: Soviet ideology, indoctrination and terror under Stalin, 1927–1941*. New Haven: Yale University Press, 2011. 376 p.
27. O zhurnale “Pod znamenem marksizma” [On the journal “Under the banner of Marxism”]. *Pravda*, 1931, 26th January.
28. On the formulation of party propaganda in connection with the release of “History of the CPSU (b)”. In: The CPSU in resolutions and decisions of Congresses, Conferences and Central Committee plenums. 1898□1954. Moscow: Gospolitizdat Publ., 1954. Part 3. (In Russian).
29. Glovin'skiy M. “Ne puskat' proshlogo na samotek”: “Kratkiy kurs VKP(b)” kak mificheskoe skazanie [“Do not let the past take its course”. “Short course of the CPSU (b)” as a mythical legend]. Translated from Polish by K. Dushenko. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 1996, no. 22, pp. 142□160.
30. Dobrenko E. *Muзей revolyutsii: Sovetskoe kino i stalinskiy istoricheskiy narrativ* [The museum of revolution. Soviet cinematography and Stalins’s historical narrative]. Moscow: NLO Publ., 2008.
31. Lenin V.I. *Polnoe sobranie sochineniy* [The complete works]. Moscow: Izdatel'stvo politicheskoy literatury Publ., 1968. Vol. 18.
32. Yudin P. Nekotorye itogi filosofskoy diskussii [Some results of philosophical discussion]. *Pravda*, 1930, 18th October.
33. Konstantinov F. Eshche raz o politike i filosofii [Once again about politics and philosophy]. *Pod znamenem marksizma*, 1936, no. 10.
34. Mitin M. Gegel' i teoriya materialisticheskoy dialektiki [Hegel and the theory of materialist dialectics]. *Pod znamenem marksizma*, 1931, no. 11–12.
35. Mitin M. *Men'shevistskiy idealizm* [The Mensheviks’ idealism]. In: *Filosofskaya entsiklopediya* [Philosophical Encyclopedia]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1964. Vol. 3, 588 p.
36. Kamenskiy Z.A. *Istoriya filosofii kak nauka v Rossii XIX–XX vv* [The history of philosophy as a science in Russia of the 19th – 20th centuries]. Moscow: Eslan Publ., 2001. 332 p.
37. Kamenskiy Z.A. *Filosofskaya diskussiya 1947 goda* (preimushchestvenno po lichnym vospominaniyam) [Philosophical discussion in 1947 (mainly by personal memories)]. In: *Otechestvennaya filosofiya: opyt, problemy, orientiry issledovaniya. Vyp. VI: Izzhivaya “zhdanovschinu”* [National philosophy: experience, problems and research targets. Issue VI: Eliminating “zhdanovschina”]. Moscow: Academy of Public Sciences at CC CPSU, 1991.
38. Kostyrchenko G.V. *Taynaya politika Stalina: Vlast' i antisemitizm* [Secret Stalin's policy: power and anti-semitism]. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 2001. 778 p.

39. Batygin G.S., Devyatko N.F. Delo akademika G.F. Aleksandrova. Epizody 40-kh godov [The case of Academician G.F. Aleksandrov. Episodes of 1940-s]. *Chelovek*, 1993, no. 1, pp. 134–146.
40. Sadovskiy V. N. Bonifatiiy Mikhaylovich Kedrov: chelovek i uchenyy [Bonifatiiy Mikhailovich Kedrov: a man and a scientist]. *Voprosy filosofii*, 2004, no. 1.
41. Zis' A.Ya. U istokov zhurnala "Voprosy filosofii" [At the origins of the journal "Voprosy filosofii"]. *Voprosy filosofii*, 1997, no. 7.
42. Zhirnov E. Naznacheny vinovnymi [Assigned as guilty]. *Kommersant'-Vlast'*, 2003, 14th April.
43. Shepilov D.T. *Neprimknuvshiy* [Not taking sides]. Moscow: Vagrius Publ., 2001. 398 p.
44. Pollock E. *Stalin and the Soviet science wars*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006. 269 p.
45. Plimak E.G. "Nado osnovatel'no prochistit' mozgi" (*K 50-letiyu filosofskoy diskussii 1947 goda*) ["We need to thoroughly clean the brains" (the 50th anniversary of the philosophical discussion of 1947)]. *Voprosy filosofii*, 1997, no. 7.
46. Krivonosov Yu. I. Srazhenie na filosofskom fronte: Filosofskaya diskussiya 1947 goda – prolog ideologicheskogo pogroma nauki [The battle on the philosophical front. Philosophical discussion in 1947 – the prologue to the ideological pogrom of the science]. *Voprosy istorii estestvoznaniya i tekhniki*, 1997, no. 3, pp. 63–86.
47. K 50-letiyu zhurnala "Voprosy filosofii". Zhurnal vchera i segodnya (Vstrecha v redaktsii) [On the 50th anniversary of the journal "Voprosy filosofii". The Journal of yesterday and today (The meeting in the editorial office)]. *Voprosy filosofii*, 1997, no. 8.
48. Druzhinin P.A. *Ideologiya i filologiya. Leningrad, 1940-e gody: Dokumental'noe issledovanie. V 2 t.* [Ideology and philology. Leningrad, 1940: Documentary study. In 2 vols.]. Moscow: NLO Publ., 2012. Vol. 1.
49. *Nashe Otechestvo. Opyt politicheskoy istorii* [Our Fatherland. Experience of political history]. Moscow: Terra Publ., 1991. Vol. 2.